

Николай Лесков

# Интересные мужчины



**Николай Семёнович Лесков**  
**Интересные мужчины**  
Серия «Рассказы кстати», книга 3

*Текст предоставлен издательством*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=174937](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=174937)*

# Содержание

Глава первая	4
Глава вторая	9
Глава третья	11
Глава четвертая	16
Глава пятая	22
Глава шестая	36
Глава седьмая	48
Глава восьмая	55
Глава девятая	58
Глава десятая	63
Глава одиннадцатая	67
Глава двенадцатая	71
Глава тринадцатая	73
Глава четырнадцатая	76
Глава пятнадцатая	81
Глава шестнадцатая	88
Глава семнадцатая	94
Глава восемнадцатая	104

# Николай Лесков

## Интересные мужчины

*Нет ничего увлекательнее порыва  
горячего чувства.  
Берсье*

### Глава первая

В дружественном мне доме с нетерпением ожидали получения февральской книги московского журнала «Мысль». Нетерпение это понятно, потому что должен был появиться новый рассказ графа Льва Николаевича Толстого. Я заходил к моим друзьям почаще, чтобы встретить ожидаемое произведение нашего великого художника и прочитать его вместе с добрыми людьми за их круглым столом и у их тихой, домашней лампы. Подобно мне, заходили и другие из коротких друзей – всё с одною и тою же самою целью. И вот желанная книжка пришла, но рассказа Толстого в ней не было: маленький розовый билетик объяснял, что рассказ не может быть напечатан. Все огорчились, и всяк это выразил соответственно своему характеру и темпераменту: кто молча надулся и насупился, кто заговорил в раздражительном тоне, иные проводили

параллели между воспоминаемым прошедшим, переживаемым настоящим и воображаемым будущим. А я в это время молча перелистывал книгу и пробежал напечатанный тут новый очерк Глеба Ивановича Успенского – одного из немногих литературных собратий наших, который не разрывает связей с жизненной правдою, не лжет и не притворствуется ради угодничества так называемым направлениям. От этого беседовать с ним всегда приятно и очень нередко – даже полезно.

На этот раз г. Успенский писал о своей встрече и разговоре с пожилую дамою, которая припоминала перед ним недавнее прошлое и замечала, что тогда мужчины были *интереснее*. С виду они были очень форменны, ходили в узких мундирах, а между тем имели много одушевления, сердечного жара, благородства и занимательности – словом, того, что делает человека *интересным* и через что он нравится. Нынче, по замечанию дамы, этого стало меньше, да порою и совсем не встречается. По профессиям мужчины теперь стали свободнее и одеваются как хотят и разные большие идеи имеют, а при всем том они стереотипны, они скучны и неинтересны.

Замечания пожилой дамы мне показались очень верными, и я предложил оставить тщетные кручины о том, чего читать не можем, и прочесть то, что предла-

гает г. Успенский. Предложение мое было принято, и рассказ г. Успенского всем показался справедливым. Пошли воспоминания и сравнения. Нашлось несколько человек, знавших лично недавно скончавшегося грузного генерала Ростислава Андреевича Фадеева, стали припоминать, сколько необыкновенного, живого интереса умел он являть своею особою, которая с виду была так мешковата и ничего будто не обещала. Вспомнили, как он даже под старость легко бывало овладевал вниманием самых умных и милых женщин, и ни одному из молодых и цветущих здоровьем щеголей никогда не удавалось взять перед ним первенство.

– Эко вы вещь какую указали! – отозвался на мои слова собеседник, который был всех в компании постарше и отличался наблюдательностию. – Велико ли дело такому умному человеку, как был покойный Фадеев, заполнить себе внимание *умной* женщины! Умным женщинам, батюшка, жутко. Их, во-первых, на свете очень немного, а во-вторых – как они больше других понимают, то они больше и страдают и рады встрече с настоящим умным человеком. Тут simile simili curatur<sup>1</sup> или gaudet<sup>2</sup> – не знаю, как лучше сказать: «подобное подобному радуется». Нет, и вы и дама, с

---

<sup>1</sup> подобное подобным лечится (*лат.*).

<sup>2</sup> радуется (*лат.*).

которую беседовал наш приятный писатель, берете очень свысока: выставляете людей отличных дарований, а по-моему более замечательно, что и гораздо пониже, в сферах самых обыкновенных, где, кажется, ничего особенного ожидать было невозможно, являлись живые и привлекательные личности, или, как их называли, «интересные мужчинки». И дамы, ими занятые, тоже были не из таких избранниц, которые способны «преклоняться» перед умом и талантом, а тоже, бывало, и такие, в своем роде, особы средней руки – очень бывали нежны и чувствительны. Как в глубоких водах, была в них своя скрытая теплота. Вот эти-то средние люди, по-моему, еще чуднее, чем те, которые подходили к типу лермонтовских героев, в которых в самом деле ведь нельзя же было не влюбляться.

– А вы знаете какой-нибудь пример такого рода интересных средних людей с скрытой теплотой глубоких вод?

– Да, знаю.

– Так вот и рассказывайте, и пусть это будет нам хоть каким-нибудь возмещением за то, что мы лишены удовольствия читать Толстого.

– Ну, «возмещением» мой рассказ не будет, а для времяпровождения я вам расскажу одну старую историю из самого невеликого армейско-дворянского

быта.



## Глава вторая

Я служил в кавалерии. Стояли мы в Т. губернии, расположившись по разным деревням, но полковой командир и штаб, разумеется, находились в губернском городе. Городок и тогда был веселый, чистенький, просторный и с учреждениями – был в нем театр, клуб дворянский и большая, довольно нелепая, впрочем, гостиница, которую мы завоевали и взяли в свое владение почти бульшую половину ее номеров. Одни нанимали офицеры, которые имели постоянное пребывание в городе, а другие номера содержались для временно прибывающих из деревенских стоянок, и эти никому из посторонних людей не передавались, а так и шли все «под офицеров». Одни съезжают, а другие на их место приезжают – так и назывались «офицерскими».

Времяпровождение было, разумеется, – картеж и поклонение Бахусу, а также и богине радостей сердечных.

Игра велась порою очень большая – особенно зимою и во время выборов. Играли не в клубе, а у себя в «номерах» – чтобы свободнее, без сюртуков и нараспашку, – и зачастую проводили за этим занятием дни и ночи. Пустее и бесчиннее время, кажется,

и проводить нельзя было, и отсюда вы сами, верно, можете заключить, что мы за народ были о ту пору и какими главным образом мы одушевлялись идеями. Читали мало, писали еще того менее – и то разве после сильного проигрыша, когда нужно было обмануть родителей и выпросить у них денег сверх положения. Словом – хорошему среди нас поучиться было нечему. Проигрывались то между собою, то с приезжими помещиками – людьми такого же серьезного настроения, как мы сами, а в антрактах пили да приказных били, увозили да назад привозили купчих и актерок.

Общество самое пустое и забубенное, в котором молодые спешили равняться со старшими и все равно не представляли в своих особах ничего умного и достойного уважения.

Об отменной чести и благородстве тоже ни разговоров, ни рацей никогда не было. Ходили все по форме и вели себя по заведенному обыкновению – тонули в оргиях и в охлаждении души и сердца ко всему нежному, высокому и серьезному. А между тем *скрытая теплота*, присущая глубоким водам, была и оказалась на нашем мелководье.

## Глава третья

Командир полка был у нас довольно уже пожилой – очень честный и храбрый воин, но человек суровый и, как говорилось в то время, – «без приятностей для нежного пола». Ему было лет пятьдесят с чем-нибудь. Он был уже два раза женат, в Т. опять овдовел и снова задумал жениться на молоденькой барышне, происходившей из местного небогатого помещичьего круга. Звали ее Анна Николаевна. Имя это такое незначительное, и под кадриль тому – все в ней было такое же совершенно незначительное. Среднего роста, средней полноты, ни хороша, ни дурна, белокуренькие волосики, голубые глазки, губки аленькие, зубки беленькие, круглолицая, белолицая, на румяных щечках по ямочке – словом, особа не вдохновительная, а именно, что называется, – «стариковское утешение».

Познакомился с нею наш командир в собрании через ее брата, который служил у нас же корнетом, и через него же сделал ее родителям и предложение.

Просто это делалось – по-товарищески. Пригласил офицера к себе в кабинет и говорит:

– Послушайте – на меня ваша достойная сестра произвела самое приятное впечатление, но вы знаете – в мои года и при моем положении мне получить от-

каз будет очень неприятно, а мы с вами как солдаты – люди свои, и я вашей откровенностию, какова бы она ни была, нимало не обижусь... В случае – если хорошо, то хорошо, а если пожелают мне отказать, то боже меня сохрани от мысли, чтобы я стал иметь к вам через то какую-нибудь личность, но вы узнайте...

Тот так же просто отвечает:

– Извольте – узнаю.

– Очень благодарен.

– Могу ли, – говорит, – я для этой надобности отлучиться от своей части домой на три или четыре дня?

– Сделайте милость – хоть на неделю.

– И не позволите ли, – говорит, – поехать со мною и моему двоюродному брату?

Брат двоюродный у него был почти такой же, как он, молоденький, розовый юноша, которого все за его юность и девственную свежесть так и называли «Саша-розан». Особенного описания ни один из этих молодых людей не заслуживает, потому что ни в одном из них ничего замечательного и выдающегося не было.

Командир замечает корнету:

– Для чего же вам нужен ваш двоюродный брат при таком семейном вопросе?

А тот отвечает, что именно при семейном-то вопросе он и нужен.

– Я, – говорит, – с отцом и с матерью должен буду разговаривать, а он в это время займется с сестрою и отвлечет ее внимание, пока я улажу дело с родителями.

Командир отвечает:

– Что же – в таком разе поезжайте оба с вашим двоюродным братом, – я его увольняю.

Корнеты поехали, и миссия их вышла вполне благоуспешна. Через несколько дней родной брат возвращается и говорит командиру:

– Если вам угодно, можете моим родителям написать или сделать ваше предложение словесно – отказа не будет.

– Ну, а как, – спрашивает, – сама ваша сестра?

– И сестра, – отвечает, – согласна.

– Но как она... то есть... рада этому или не рада?

– Ничего-с.

– Ну, однако... по крайней мере – довольна она или больше недовольна?

– По правде доложить, она ничего почти не обнаруживала. Говорит: «Как вам, папаша и мамаша, угодно – я вам повинуюсь».

– Ну да, это прекрасно, что она так говорит и повинуется, но ведь по лицу, в глазах, без слов девушку можно заметить, какое у нее выражение.

Офицер извиняется, что он, как брат, к лицу своей

сестры очень привык и за выражением ее глаз не следил, так что ничего на этот счет определенного сказать не может.

– Ну, а двоюродный ваш брат мог заметить – вы могли с ним об этом говорить на обратном пути?

– Нет, – отвечает, – мы об этом не говорили, потому что я спешил исполнить ваше поручение и вернулся один, а его оставил у своих и вот имею честь представить от него рапорт о болезни, так как он захворал, и мы послали дать знать его отцу и матери.

– А-а! А что же с ним такое сделалось?

– Внезапный обморок и головокружение.

– Вон какая девичья немочь. Хорошо-с. Я вас очень благодарю, и так как теперь мы почти как родные, то прошу вас – останьтесь, пожалуйста, со мной вдвоем пообедать.

И за обедом все нет-нет да его о кузене и спросит – что он и как в их доме принят, и опять – при каких обстоятельствах с ним сделался обморок. А сам все молодого человека вином поит, и очень его подпоил, так что тот если бы имел в чем проговориться, то наверно бы проговорился; но ничего такого, к счастью, не было, и командир скоро на Анне Николаевне женился, мы все на свадьбе были и мед-вино пили, а оба корнета – родной брат и кузен – были даже у невесты шаферами, и ничего не было заметно ни за кем

– ни сучка, ни занозочки. Молодые люди по-прежнему кутили, а новая наша полковница скоро начала авантажнить в турнюре, и особые желания у нее являлись во вкусе. Командир этим радовался, мы все, кто чем мог, старались споспешествовать ее капризам, а молодые люди – ее брат с кузеном – в особенности. Бывало, то за тем, то за другим так тройки в Москву и скажут, чтобы доставить ей что-либо желанное. И вкусы у нее, помню, всё сказывались не избранные, всё к вещам простым, но которых не всегда отыщешь: то султанского финика ей захочется, то ореховой халвы греческой – словом, все простое и детское, как и сама она глядела детенком. Наконец настал и час воли божией, а их супружеской радости, и из Москвы привезли для Анны Николаевны акушерку. Как сейчас помню, что приехала эта дама в город во время звона к вечерне, и мы еще посмеялись: «Вот, мол, фараонскую бабу со звоном встречают! Что-то за радость через нее будет?» И ждем этого, точно это в самом деле какое-нибудь общее полковое дело. А тем временем является неожиданное происшествие.

## Глава четвертая

Если вы читали у Брет-Гарта, как какие-то мало-путящие люди в американской пустыне были со скуки заинтересованы рождением ребенка совершенно постороннею им женщиною, то вы не станете удивляться, что мы, офицеры, кутилы и тоже беспутники, все внимательно занялись тем, что Бог дарует дитя нашей молоденькой полковнице. Вдруг это почему-то получило в наших глазах такое общественное значение, что мы даже распорядились отпировать появление на свет новорожденного и с этою целью заказали своему трактирщику приготовить усиленный запас шипучего, а сами – чтобы не заскучать – сели под вечерний звон «резаться», или, как тогда говорилось, «трудиться для пользы императорского воспитательного дома».

Повторяю, что это было у нас и занятие, и обыкновение, и работа, и самое лучшее средство, которое мы знали для того, чтобы преодолевать свое скучание. И нынче это производилось точно так же, как и всегда: заначалили бдение старшие, ротмистры и штаб-ротмистры с пробивающеюся сединою на висках и усах. Они сели именно как раз, когда в городе звонили к вечерне и горожане, низко раскланиваясь



друг с другом, тянулись в церкви исповедоваться, так как описываемое мною событие происходило в пятницу на шестой неделе Великого поста.

Ротмистры посмотрели на этих добрых христиан, поглядели и вслед акушерке, а потом с солдатскою простотою пожелали всем им удачи и счастья, какое кому надобится, и, спустив в большом номере оконные шторы из зеленого коленкора, зажгли канделябры и пошли метать «направо, налево».

Молодежь же еще сделала несколько концов по улицам и, проходя мимо купеческих домов, перемигнулась с купеческими дочками, а потом, при сгустившихся сумерках, тоже явилась к канделябрам.

Я отлично помню этот вечер, как он стоял и по ту и по другую сторону опущенных штор. На дворе было превосходно. Светлый мартовский день сгас румяным закатом, и все оттаявшее на угреве опять подкрепилось, – стало свежо, а в воздухе все-таки повеяло весенним запахом, и сверху слышались жаворонки. Церкви были полуосвещены, и из них тихо выходили поодиночке сложившие свои грехи исповедники. Тихо, поодиночке же брели они, ни с кем не говоря, по домам и исчезали, храня глубокое молчание. На всех на них была одна забота, чтобы ничем себя не развлечь и не лишиться водворившихся в их душах мира и безмятежности.

Тишина разом скоро стала во всем городе – и без того, впрочем, нешумном. Запирались ворота, за заборами слышалось дергание собачьих цепей по веревкам; заперлись маленькие трактиры, и только у занимаемой нами гостиницы вертелись два «живейные» извозчика, поджидавшие, что они нам на что-нибудь понадобятся.

В эту пору вдалеке, по подмерзшему накату большой улицы, застучали большие дорожные троечные сани, и к гостинице подъехал незнакомый рослый господин в медвежьей шубе с длинными рукавами и спросил: «Есть номер?»

Это случилось как раз в то время, как я и еще двое из молодых офицеров подходили к подъезду гостиницы после обхода дозором окошек, в которых имели обыкновение показываться нам недоступные купеческие барышни.

Мы слышали, как приезжий спросил себе номер и как вышедший к нему старший коридорный Марко назвал его «Августом Матвеичем», поздравил его с счастливым возвращением, а потом отвечал на его вопрос:

– Не смею, сударь Август Матвеич, солгать вашей милости, что номера нет. Номерок есть-с, но только я опасаясь – останетесь ли вы им, сударь, довольны?

– А что такое? – спросил приезжий, – нечистый воз-

дух или клопы?

– Никак нет – нечистоты, извольте знать, мы не держим, а только у нас очень много офицеров стоят...

– Что же – шумят, что ли?

– Н... н... да-с, знаете – холостежь, – ходят, свищут... Чтобы вы после не гневались и неудовольствия на нас бы не положили, потому как мы их ведь утихомирить не можем.

– Ну вот – еще бы вы смели сами офицеров усмирять! После этого на что бы уже и на свете жить... Но, я думаю, с усталости переночевать можно.

– Оно точно, можно, но только я хотел, чтобы вперед это вашей милости объяснить, а то, разумеется, можно-с. Затем позвольте брать чемодан и подушки?

– Бери, братец, бери. Я от самой Москвы не останавливался и так спать хочу, что никакого шума не боюсь – мне никто не помешает.

Лакей повел помещать гостя, а мы проследовали в главный номер – эскадронного ротмистра, где шла игра, в которой теперь принимала участие уже вся наша компания, кроме полковницына кузена Саши, который жаловался на какое-то нездоровье, не хотел ни пить, ни играть, а все прохаживался по коридору.

Родной брат полковницы ходил с нами на купеческое обозрение и с нами же присоединился и к игре, а Саша только вошел в игорный номер, и сейчас же

опять вышел и опять стал прохаживаться.

Странен он был как-то, так что даже пришлось обратить на него внимание. На вид он казался в самом деле как будто просто не в своей тарелке – не то болен, не то грустен, не то расстроен, а станешь в него всматриваться – будто и ничего. Только сдавалось, будто он мысленно от всего окружающего отошел и занят чем-то далеким и для всех нас посторонним. Все мы слегка над ним подтрунили, что, мол, «ты не акушеркою ли заинтересовался», а впрочем, никакого особенного значения его поведению не придали. В самом деле – он был еще очень молодой человек и в настоящее офицерское питье «из девяти элементов» еще как следует не втравился. Вероятно, ослабел от бывших перед тем трудов и притих. Притом же в комнате, где играли, было, по обыкновению, сильно накурено, и голова могла разболеться; да могло быть, что и финансы у Саши были в беспорядке, потому что он в последнее время азартно играл и часто бывал в значительном проигрыше, а он был мальчик с правилами и стыдился часто беспокоить родителей.

Словом – мы оставили этого молодого человека бродить тихими шагами по суконному половику, застилавшему коридор, а сами резались, пили и закусывали, спорили и шумели, и совсем позабыли и о течении ночных часов и о торжественном событии, ко-

торое ожидалось в командирском семействе. А чтобы забвение это вышло еще гуще – около часа за полночь все мы были развлечены одним неожиданным обстоятельством, которое подвел нам тот самый незнакомый приезжий, которого мы встретили, как я вам сказал, выходящим из дорожных саней на ночлег в нашу гостиницу.

## Глава пятая

Во втором часу ночи в комнату, где мы играли, явился старший коридорный Марко и, помявшись, доложил, что приезжий «княжеский главноуправитель», остановившийся в таком-то номере, прислал его к нам извиниться и доложить, что он не спит и скучает, а потому просит – не позволят ли ему господа офицеры прийти и принять участие в игре?

– Да ты знаешь ли этого господина? – спросил старший из наших офицеров.

– Помилуйте, как же не знать Августа Матвеича? Их здесь все знают – да они и по всей России, где только есть княжьи имения, всем известны. Август Матвеич самую главную доверенность имеет на все княжеские дела и вотчины и близко сорока тысяч в год одного жалованья берет. (Тогда еще считали на ассигнации.)

– Поляк он, что ли?

– Из поляков-с, только барин отличный и сам в военной службе служил.

Слугу, который нам докладывал, все мы считали за человека добропорядочного и нам преданного. Очень смысленый был и набожный – все ходил к заутрене и на колокол в свой приход в деревню собирал. А Марко видит, что мы заинтересовались, и поддерживает

интерес.

– Август Матвеич теперь, – говорит, – из Москвы едет, как слух был – два имения княжеские в совет заложивши, и должно быть с деньгами – желают порассеяться.

Наши переглянулись, перешепнулись и решили:

– Что же нам всё свои-то лобанчики из кошелька в кошелек перелобанивать. Пусть придет свежий человек и освежит нас новым элементом.

– Что же, – говорим, – пожалуй, но только ты нам отвечаешь: есть ли у него деньги?

– Помилуйте! Август Матвеич никогда без денег не бывают.

– А если так, то пусть идет и деньги несет – мы очень рады. Так, господа? – обратился ко всем старший ротмистр.

Все отвечали согласиём.

– Ну и прекрасно – скажи, Марко, что просим пожеловать.

– Слушаю-с.

– Только того... про всякий случай намекни или прямо скажи, что мы хоть и товарищи, но даже между собою непременно на наличные деньги играем. Никаких счетов, ни расписок – ни за что.

– Слушаю-с – да это не беспокойтесь. У него во всех местах деньги.

– Ну и проси.

Через самое малое время, сколько надо было человеку не франту одеться, растворяется дверь, и в наше облако дыма входит очень приличный на вид, высокий, статный, пожилых лет незнакомец – в штатском платье, но манера держаться военная и даже, можно сказать, этакая... гвардейская, как тогда было в моде, – то есть смело и самоуверенно, но с ленивой грацией равнодушного пресыщения. Лицо красивое, с чертами, строго размещенными, как на металлическом циферблате длинных английских часов Грагама. Стрелка в стрелку так весь многосложный механизм и ходит.

И сам-то он как часы длинный, и говорит он – как Грагамов бой отчеканивает.

– Прошу, – начинает, – господа, извинения, что позволил себе напроситься в вашу дружескую компанию. Я такой-то (назвал свое имя), спешу из Москвы домой, но устал и захотел здесь отдохнуть, а меж тем услышал ваш говор – и «покой бежит от глаз». Как старый боевой конь, я рванулся и приношу вам искреннюю благодарность за то, что вы меня принимаете.

Ему отвечают:

– Сделайте милость! сделайте милость! Мы люди простые и едим пряники неписанные. Мы все здесь товарищи и держим себя без всяких церемоний.



– Простота, – отвечает он, – всего лучше, ее любит бог, и в ней поэзия жизни. Я сам служил в военной службе и хотя по семейным делам вынужден был ее оставить, при самом счастливом ходе, но военные привычки во мне остались, и я враг всех церемоний. Но вы, я вижу, господа, в сюртуках, а здесь жарко?

– Да, признаться, мы только сейчас надели сами сюртуки для встречи незнакомого человека.

– Ай, как не стыдно! А я этого-то и боялся. Но если уже вы были так любезны, что меня приняли, то вы на первом шагу нашего знакомства ничем не можете мне сделать такого истинного удовольствия, как если освободите себя и останетесь снова, как было до моего прихода.

Офицеры позволили склонить себя к этому и остались в одних жилетах – причем потребовали точно такого же дезабилье и от незнакомца. Август Матвейч охотно сбросил с себя ловко и солидно сшитую венгерку с голубою шелковою подкладкою в рукавах и не отказался выпить «для знакомства со всеми» рюмку водки.

Все по рюмке выпили и закусили и при этом случае вспомнили о «кузене» Саше, который все еще продолжал свою прогулку по коридору.

– Позвольте, – говорят, – здесь нет одного из наших. Позвать его сюда!

А Август Матвеич и говорит:

– Вы верно, недосчитываетесь этого интересного молодого корнета, который там ходит в милой задумчивости по коридору?

– Да, его. Позовите его сюда, господа!

– Да он не идет.

– Что за пустяки такие!.. Премилый молодой товарищ и уже хорошо повел курс наук по питью и игре, и вдруг что-то сегодня изменил и осовел. Возьмите его сюда, господа, силою.

Этому запротиворечили, и послышалось несколько замечаний, что, быть может, Саша в самом деле болен.

– Какой черт – я головою отвечаю, что он просто устал или хандрит с непривычки от большого проигрыша.

– А корнет много проиграл?

– Да – в последнее время ему ужасно не везло, он был постоянно как-то вне себя и постоянно проигрывал.

– Скажите пожалуйста – это бывает; но у него такой вид, как будто он не столько несчастлив в картах, как несчастлив в любви.

– А вы его видели?

– Да; и притом я в него всмотрелся совершенно случайно. Он так задумчив и потерян, что зашел ошиб-

кою в мой номер вместо своего и, не видя меня на постели, направился было прямо к комоду и стал что-то искать. Я даже подумал, не лунатик ли он, и позвал Марко.

– Что за удивление!

– Да, и когда Марко спросил его, что ему угодно, – он точно не скоро понял, в чем дело, а потом, бедняжка, очень сконфузился... Я вспомнил старые годы и подумал: верно тут зазноба сердечная!

– Ну уж и зазноба. Пройдет это все. Вы, господа, в Польше слишком много значения придаете этим сентиментам, а мы, москали, народ грубый.

– Да, но вид этого молодого человека не говорит о грубости: он, напротив, нежен и показался мне встревоженным или беспокойным.

– Он просто устал, и над ним, по нашей философии, надо употребить насилие. Господа, выйдите вы кто-нибудь двое и введите сюда Сашу, пусть он оправдается против подозрений в безнадежной любви!

Два офицера вышли и вернулись с Сашей, на молодом лице которого блуждали, поборая друг друга, усталость, конфуз и улыбка.

Он говорил, что ему действительно нездоровится, но что более всего его смущает то, что с него беспрепятственно требуют отчета. Когда же ему пошутили, что «даже незнакомец» заметил в нем «страданье серд-

ца от амура», Саша вдруг вспыхнул и взглянул на нашего гостя с невыразимой ненавистью, а потом сердито и резко оторвал:

– Это вздор!

Он просил позволения уйти к себе в номер и лечь спать, но ему напомнили, что сегодня ожидается важное событие, которое все желают вместе приветствовать, и потому оставить компанию непозволительно. При напоминании об ожидаемом «событии» Саша опять побледнел.

Ему сказали:

– Уйти нельзя, но выпей свою очередную рюмку водки, и если не хочешь играть, то сними сюртук и ложись здесь на диване. Когда там закричит дитя, – мы услышим и тебя разбудим.

Саша повиновался, но не вполне: рюмку водки он выпил, но сюртука не снял и не лег, а сел в тени у окна, где от дурно вставленной рамы ходил холодок, и стал смотреть на улицу.

Ждал ли он кого и высматривал или так просто его беспокоило что-то внутреннее – не могу вам сказать; но он все глядел, как мерцает огонек в фонаре, которым качал и скрипел ветер, и то откинется в глубь кресла, то точно хочет сорваться и убежать.

Наш незнакомец, с которым я сидел рядом, замечал, что я наблюдаю за Сашей, и сам наблюдал его.

Я это должен был видеть по его взглядам и по тому, что он сказал мне, а он сказал мне вполголоса следующие дрянные слова, которых я не могу позабыть во всю жизнь:

– Вы дружны с этим вашим товарищем?

При этом он метнул глазами в сторону опустившегося Саши.

– Ну, разумеется, – отвечал я с легким задором молодости, усмотревшей в таком вопросе неуместную фамильярность.

Август Матвеич заметил это и тихо пожал под столом мою руку. Я посмотрел на его солидное и красивое лицо, и опять, по какой-то странной ассоциации идей, мне пришли на память никогда себе не изменяющие английские часы в длинном футляре с грамовским ходом. Каждая стрелка ползет по своему назначению и отмечает часы, дни, минуты и секунды, лунное течение и «звездные зодии», а все тот же холодный и безучастный «фрон»: указать они могут всё, отметят всё – и останутся сами собою.

Примилив меня с собою ласковым рукопожатием, Август Матвеич продолжал:

– Не сердитесь на меня, молодой человек. Поверьте, я не хочу сказать о вашем товарище ничего дурного, но я немало жил, и его положение мне что-то внушает.

– В каком смысле?

– Оно мне кажется каким-то... как вам это сказать...

феральным: оно глубоко меня трогает и беспокоит.

– Даже уже и беспокоит?

– Да, именно – беспокоит.

– Ну, смею вас уверить, что это совершенно напрасное беспокойство. Я хорошо знаю все обстоятельства этого моего товарища и ручаюсь вам, что в них нет ничего, что могло бы смутить или оборвать течение его жизни.

– *Оборвать!*– повторил он за мною, – *c'est le mot!*<sup>3</sup> Вот именно слово... «оборвать течение жизни»!

Меня неприятно покорило. Зачем это я сам именно так выразился, что дал повод незнакомцу ухватиться за мое выражение?

Август Матвеич мне вдруг начал не нравиться, и я стал с недоброжелательством смотреть на его точный грагамовский циферблат. Что-то гармоничное и вместе с тем какое-то давящее и неотразимое. Идет, идет – и проиграют куранты, и опять идет далее. И все на нем какое-то отменное... Вон рукава его рубашки, которая несравненно тоньше и белее всех наших, а под нею красная шелковая фуфайка как кровь сверкает из-под белых манжет. Точно он снял с себя свою живую кожу да чем-то только обернулся. А на руке у него

---

<sup>3</sup> меткое слово (франц.).

женский золотой браслет, который то поднимается за кисти, то снова упадет и спрячется вниз за рукав. На нем явно читается польскими буквами исполненное русское женское имя «Olga».

Мне почему-то досадно за эту «Ольгу». Кто она и что она ему такое – родная или любовница, – мне все равно досадно.

Чего, зачем и почему? Не знаю. Так, – одна из тысячи глупостей, невесть откуда приходящих затем, чтобы «смутить смысл смертного».

Но я вспоминаю, что мне надо отделаться от своего слова «*оборвать*», которому он придал вовсе нежеланное значение, и говорю:

– Я жалею, что я так выразился, – но сказанное мною слово не может иметь никакого двойного значения. Мой товарищ молод, имеет состояние, он один сын у родителей и всеми любим...

– Да, да, но тем не менее... он не хорош.

– Я вас не понимаю.

– Ведь он смертен?

– Разумеется, как вы и я, – как целый свет.

– Совершенно справедливо, но только людей целого света я не вижу, а ни на мне, ни на вас нет этих роковых знаков, как на нем.

– Каких «роковых знаков»? О чем вы говорите?

Я очень неуместно рассмеялся.

– Зачем же вы смеетесь над этим?

– Да, извините, – говорю, – я сознаю невежливость моего смеха, но вы представьте мое положение: мы с вами глядим на одно и то же лицо, и вы мне рассказываете, будто видите на нем что-то необыкновенное, тогда как я решительно ничего не вижу, кроме того, что всегда видел.

– Всегда? Этого не может быть.

– Я вас уверяю.

– Гиппократовы черты!

– В этом ничего не понимаю.

– Как не понимаете? Есть такой *agent psychique*.<sup>4</sup>

– Не понимаю, – сказал я, чувствуя, что это слово наволокло на меня какой-то глупый страх.

– *Agent psychique*, или гиппократовы черты, – это непостижимые, роковые, странные обозначения, которые давно известны. Эти неуловимые черты появляются на лицах людей только в роковые минуты их жизни, только накануне того, когда предстоит свершить «великий шаг в страну, откуда путник к нам еще не возвращался»... Эти черты превосходно умеют наблюдать шотландцы и индусы Голубых гор.

– Вы были в Шотландии?

– Да, – я в Англии учился сельскому хозяйству и путешествовал по Индостану.

---

<sup>4</sup> психический признак (франц.).



– И что же – вы говорите, что видите известные вам проклятые черты теперь на добром Саше?

– Да; если этот молодой человек сейчас называется Саша, то я думаю, что он скоро получит *другое* имя.

Я почувствовал, что меня прошел насквозь какой-то ужас, и несказанно обрадовался, что в это самое время к нам подошел один из наших офицеров, сильно подгулявший, и спросил меня:

– Что ты – о чем с этим барином ссоришься?

Я отвечал, что мы вовсе не ссоримся, но что у нас шел вот какой странный и смутивший меня разговор.

Офицер, малый простой и решительный, посмотрел на Сашу и сказал:

– Он в самом деле какой-то скверный! – Но вслед за тем обратился к Августу Матвейчу и сурово спросил:

– А вы что же – френолог или предсказатель?

Тот отвечал:

– Я не френолог и не предсказатель.

– А так – черт знает что?

– Ну и это тоже нет – я не «черт знает что», – отвечал тот спокойно.

– Так что же вы: стало быть, колдун?

– И не колдун.

– А кто же?

– *Мистик*.

– Ага! вы *мистик*!.. это значит – вы любите поиг-

рать в вистик. Знаю, знаю, видали мы таких, – протянул офицер и, будучи без того уже порядком пьян, снова отправился еще повреждать себя водкою.

Август Матвеич посмотрел на него не то с сожалением, не то с презрением. Обозначательные стрелки на его циферблате передвинулись; он встал, отошел к играющим, декламируя себе под нос из Красинского:

Ja Boga nie chce, ja nieba nie czuje,  
Ja w niebo nie pōjde...<sup>5</sup>

Мне вдруг сделалось так не по себе, точно я беседовал с самим паном Твардовским, и я захотел себя приободрить. Я еще далее отошел от карточного стола к закусочному и позамешкался с приятелем, изъяснявшим по-своему слово «мистик», а когда меня через некий час волною снова подвинуло туда, где играли в карты, то я застал уже талию в руках Августа Матвеича.

У него были огромные записи выигрышей и проигрышей, и на всех лицах по отношению к нему читалось какое-то нерасположение, выражавшееся даже отчасти и задорными замечаниями, которые ежеминутно угрожали еще более обостриться и, может быть, сделаться причиною серьезных неприятностей.

---

<sup>5</sup> Я Бога не хочу, я не чую неба, Я на небо не пойду... (польск.).

Без неприятностей как-то дело не представлялось ни на минуту – словно на то было будто какое-то, как мужички говорят, «приделение».

## Глава шестая

Когда я подошел к игравшим, кто-то из наших заметил, например, Августу Матвейчу, что браслет, прыгавший вверх и вниз по его руке, мешает ему свободно метать талию. И тут же добавил:

– Вы бы, может быть, лучше сняли с себя это женственное украшение.

Но Август Матвейч и на этот раз выдержал спокойствие и отвечал:

– Да снять бы лучше, это так, но я не могу воспользоваться вашим добрым советом: эта вещь наглухо заклепана на моей руке.

– Вот фантазия – изображать из себя невольника!

– А почему бы и нет? – иногда очень хорошо чувствовать себя невольником.

– Ага! и поляки это, наконец, признали!

– Как же – что до меня, то я с самых первых дней, когда мне стали доступны понятия о добре, истине и красоте, признал, что они достойны господствовать над чувствами и волей человека.

– Но в ком бывают совмещены все эти идеалы?

– Конечно, в лучшем творении бога – в женщине.

– Которую зовут Ольгою, – пошутил кто-то, прочитав имя на браслете.

– Да – вы угадали: имя моей жены Ольга. Не правда ли, какое это прекрасное русское имя и как отрадно думать, что русские хоть его не заняли у греков, а нашли в своем родном обиходе.

– Вы женаты на русской?

– Я вдов. Счастье, какого я был удостоен, было так полно и велико, что не могло быть продолжительно, но я о сю пору счастлив воспоминанием о русской женщине, которая находила себя со мною счастливою.

Офицеры переглянулись. Ответ показался им немножко колким и куда-то направленным.

– Черт его возьми! – проговорил кто-то, – не хочет ли этот заезжий сказать, что господа поляки особенно милы и вежливы и что наши женщины без ума от их любезности.

Тот непременно должен был это слышать, даже посмотрел молча в сторону говорившего и улыбнулся, но тотчас же снова начал метать очень спокойно и чисто. За ним, разумеется, во все глаза смотрели понтеры, но никто из них не замечал ничего нехорошего. Вдобавок, никакое подозрение в нечестности игры не могло иметь и места, потому что Август Матвеич был в очень значительном проигрыше. Часам к четырем он заплатил уже более двух тысяч рублей и, окончив расчет, сказал:

– Если вам, господа, угодно продолжать игру, то я еще закладываю тысячу.

Выигравшие офицеры, по принятому этикету банковской игры, находили неловким забастовать и отвечали, что они будут понтировать.

Некоторые только, отвернувшись, пересмотрели заплаченные Августом Матвеичем деньги, но в содержании оные одобрили.

Все было в совершенном порядке, он всем заплатил самыми достоверными и несомненными ассигнациями.

– Далее, господа, – сказал он, – я не могу положить на стол перед вами ходячей монеты, так как все, что у меня было в этом виде, от меня уже ушло. Но у меня есть банковые билеты по пятисот и по тысяче рублей. Я буду ставить билеты и для удобства прошу вас на первый раз разменять мне пару таких билетов.

– Это возможно, – отвечали ему.

– В таком случае я сейчас буду иметь честь представить вам два билета и попрошу вас их рассмотреть и разменять на деньги.

С этими словами он поднялся с места, подошел к своему сюртуку, который лежал на диване неподалеку от сидевшего в непробудном самоуглублении Саши, и стал шарить по карманам. Но это выходило долго, и потом вдруг Август Матвеич отшвырнул от себя прочь

сюртук, взялся рукою за лоб, пошатнулся и едва не упал на пол.

Движение это было тотчас же всеми замечено и показалось до такой степени истинным и неподдельным, что Август Матвейч возбудил во многих живое участие. Два или три человека, находившиеся к нему ближе, участливо воскликнули: «что с вами такое?» и кинулись его поддержать.

Гость наш был очень бледен и на себя не похож. Я в этот раз впервые еще видел, как большое и неожиданное горе вдруг перевертывает и моментально старит очень сильного и самообладающего человека, каким, мне казалось, надлежало считать появившегося среди нас на свое и на наше несчастье княжеского главноуправителя. Моментально постигающее человека неожиданное горе его как-то трет, мнет и комкает, как баба тряпку на портомойне, и потом колотит вальком, пока все из него не выколотит. Не умею и не стану вам описывать лицо и взгляды Августа Матвейча, но живо помню досадное и неуважительное по отношению к его горю сравнение, которое мне пришло в голову, когда я в числе других подался к главноуправителю и приблизил к его лицу свечу. Это опять касалось часов и циферблата, и притом одного смешного с ними случая.

Отец мой имел страсть к старым картинам. Он их

много разыскивал и портил: он сам их размывал и покрывал новым лаком. Мы, бывало, смотрим, как он привезет откуда-нибудь старую картину, и видим темноватую ровную поверхность, на которой все колера как-то мирно стусhevались и сгладились во что-то неразборчивое, но гармоническое, под слоем потемневшего лака; но вот по этой картине проехала губка, напитанная скипидаром; остеклившийся лак пошел сворачиваться, проползли грязные потоки, и все тоны той же самой картины зашевелились, изменились и, кажется, пришли в беспорядок. Она стала как будто не она – именно потому, что теперь-то она и являлась глазам сама собою, как есть, без лакировки, которая ее умиряла и сглаживала. И мне вспомнилось, как мы раз, подражая отцу, хотели так же *умыть* циферблат на часах в нашей детской и, к ужасу своему, увидали, что изображенный на нем Бука с корзинкою, в которой сидели непослушные дети, вдруг потерял свои очертания и наместо очень храброго лица являл что-то в высшей степени двусмысленное и смешное.

Нечто такое же являет собою в несчастьи и живой человек, даже самообладающий, а иногда и гордый. Горе срывает с него лак, и вдруг всем становятся видны его пожелтые тоны и давно прорвавшиеся до грунта трещины. Но наш гость был еще сильнее многих:



он владел собою – он старался оправиться и заговорил:

– Извините, господа, – совершенные пустяки... Я только прошу вас не обращать на это внимания и отпустить меня к себе, потому что... мне... сделалось дурно: извините – я продолжать игры не могу.

И Август Матвеич обратил ко всем свое лицо, глядевшее теперь совершенно смытым циферблатом, но он еще силился держать любезную улыбку. Очевидно, он хотел «уйти без истории», но в это самое мгновение кто-то из наших, тоже, конечно, находившийся под влиянием лишней рюмки, задорно крикнул:

– У вас еще раньше этого не было ли дурно?

Поляк побледнел.

– Нет, – отозвался он скоро и сильно возвысив голос, – нет, со мною никогда еще не бывало *так дурно*. Кто говорит и думает иначе, тот ошибается... Я сделал неожиданное открытие... я имею слишком достаточную причину, чтобы отменить мое намерение продолжать игру, и решительно не понимаю: что и кому от меня угодно!

Тут все заговорили:

– О чем это он? От вас, милостивый государь, ничего не угодно и никто ничего не требует. Но это любопытно: какое такое вы сделали, находясь среди нас, открытие?

– Никакое, – отвечал поляк и, поблагодарив поклонном офицеров, поддерживавших его ввиду охватившей его мгновенной слабости, добавил – Вы, господа, меня совсем не знаете, и репутация моя, отрекомендованная вам коридорным слугою, не может вам много говорить в мою пользу, а потому я не нахожу возможным продолжать дальнейший разговор и желаю вам откланяться.

Но его удержали.

– Позвольте, позвольте, – заговорили к нему, – этак невозможно.

– Я не знаю – почему «этак невозможно». Я заплатил все, что проиграл, а дальше игры продолжать не желаю и прошу освободить меня из вашего общества.

– Тут не о плате...

– Да, не о плате-с.

– Так о чем же еще?.. Спрашиваю: «Что вам угодно?» – вы отвечаете, что вам от меня «ничего не угодно»; уйду молча – вы снова в какой-то претензии... Что такое, черт возьми! Что такое?

Тут к нему подошел один из усатых ротмистров – «товарищ в битвах поседелый», муж бывалый в картежных столкновениях различного рода.

– Милостивый государь! – заговорил он, – позвольте мне объясниться с вами одному от лица многих.

– Я очень рад, – хотя совершенно не вижу, о чем

нам объясняться.

– Я вам сейчас это изложу.

– Извольте.

– Я и мои товарищи, милостивый государь, действительно вас не знаем, но мы приняли вас в свою компанию с нашею простою русскою доверчивостию, а между тем вы не могли совершенно скрыть, что вас поразила какая-то внезапность... И это в нашем кружке... Вы, милостивый государь, упомянули слово «репутация». У нас, черт возьми! – надеюсь, тоже есть репутация... Да-с! Мы вам верим, но вас тоже просим довериться нашей честности.

– Охотно-с, – перебил поляк, – охотно! – и протянул руку, которую ротмистр как бы не заметил, и продолжал:

– Я вам ручаюсь моею рукою и головою, что вас не ожидает здесь ни малейшая неприятность, и всякий, кто позволит себе чем бы то ни было, хотя бы отдаленным намеком, оскорбить вас здесь до разбора дела, тот будет иметь во мне вашего защитника. Но это дело так остаться не может; ваше поведение нам кажется странным, и я прошу вас от лица всех здесь присутствующих, чтобы вы успокоились и серьезно нам объяснили, действительно ли вы внезапно заболели или вы что-нибудь заметили и с вами что-нибудь случилось. Просим вас сказать это нам откровенно в од-

но слово.

Все подхватили: «да, мы все просим, все просим!» И действительно все просили. Движение сделалось всеобщее. К нему не присоединялся разве только один Саша, который по-прежнему оставался в своей глупой потерянности, но и он встал с своего места – произнес: «Как это противно!» и оборотился лицом к окну.

А поляк, когда мы к нему так круто приступили, не потерялся, а, напротив, даже приосанился, развел руками и сказал:

– Ну, в таком случае, господа, я вас прошу меня извинить: я ничего не хотел говорить и все хотел снести на моем сердце, но когда вы меня честью обязываете вам сказать – что со мною сделалось, я повинуюсь чести и, как честный человек и дворянин...

Кто-то не выдержал и крикнул:

– Не слишком ли долго все о чести!

Ротмистр сердито посмотрел в сторону, откуда это было сказано, а Август Матвеич продолжал:

– Как честный человек и дворянин, я скажу вам, что у меня, господа, кроме того, сколько я проиграл вам, было еще с собою в бумажнике двенадцать тысяч рублей банковыми билетами по тысяче и по пяти-сот рублей.

– Вы их имели при себе? – спросил ротмистр.

– Да, при себе.

– Вы хорошо это помните?

– Без малейшего сомнения.

– И теперь их нет?

– Да; это вы сказали: их нет.

Пьяный офицер опять было крикнул:

– Да они были ли?

Но ротмистр еще строже ответил:

– Прошу молчать! Господин, которого мы видим, не смеет лгать. Он знает, что такими вещами в присутствии порядочных людей не шутят, потому что такие шутки кровью пахнут. А что мы действительно порядочные люди – это мы должны доказать делом. Никто, господа, ни с места, а вы, поручик такой-то, и вы, и вы еще (он назвал трех из товарищей) извольте сейчас запереть на ключ все двери и положить ключи здесь, у всех на виду. Первый, кто захотел бы теперь отсюда выйти, должен лечь на месте, но я надеюсь, что из нас, господа, никто этого не сделает. Никто не смеет сомневаться, что из нас ни один не может быть виноват в пропаже, о которой говорит этот проезжий, но это должно быть доказано.

– Да, да, без сомнения, – вторили офицеры.

– И когда это будет доказано, тогда начнется второе действие, а теперь, оберегая нашу честь и гордость, все мы, господа, обязаны немедленно, не выходя от-

сюда, позволить себя обыскать до нитки.

– Да, да, обыскать, обыскать! – заговорили офицеры.

– И до нитки, господа! – повторил ротмистр.

– До нитки, до нитки!

– Мы все по очереди донага разденемся перед этим господином. Да, да, как мать родила – донага, чтобы нельзя было нигде ничего спрятать, и пусть он сам обыщет нас каждого. Я всех вас старше летами и службою, и я первый подвергаю себя этому обыску, в котором не должно быть ничего унижительного для честных людей. Прошу отойти от меня далее и стать всем в ряд, – я раздеваюсь.

И он стал скоро и порывисто снимать с себя все, до носков на ногах, и, положив вещи на полу перед управляющим, поднял над головою руки и сказал:

– Вот я весь – как рекрут на приеме стою. Прошу обыскивать мои вещи.

Август Матвеич начал было отнекиваться и уклоняться под тем довольно справедливым предлогом, что он подозрений не заявлял и обыска не требовал.

– Э-э! нет, это стара шутка, – заговорил, весь побагровев и засверкав гневно глазами, ротмистр и затоптал босыми пятками по полу. – Теперь поздно, милостивый государь, деликатничать... Я недаром перед вами раздевался... Прошу вас осмотреть мои вещи до

нитки! Иначе я, голый, сию же минуту и тут же убью вас вот этим стулом.

И тяжелый трактирный стул заходил в его волосатой руке по воздуху над головою Августа Матвеича.

## Глава седьмая

Август Матвеич волей-неволей нагнулся к разложенному на полу гардеробу ротмистра и стал трогать вещи для вида.

Голые пятки по полу затоптали еще сильнее, и с их тупым выстукиванием раздался задушенный, шипящий со свистом голос:

– Не так ищут, не так! Держите меня, или я кинусь на него и задушю его, если он не будет нас обыскивать как следует!

Ротмистр был буквально вне себя и так весь трясся от гнева, что даже дрожал густой черной мох на подмышках его мускулистых рук, которые он теперь судорожно сжал снова над своею головою.

Поляк, однако, оказался молодцом и нимало не сробел перед бешеным порывом ротмистра: он окинул спокойным взглядом его лицо и его подмышки, в которых точно будто дрожали две черные крысы, и сказал:

– Извольте – и хотя я уверен, что вы несомненно честный человек, я, по вашему требованию, буду обыскивать вас как вора.

– Да, черт возьми, – я честный человек, и я непременно требую, чтобы вы обыскивали меня *как вора!*



Август Матвеич его обыскал и, разумеется, ничего не нашел.

– Итак, я чист от подозрений, – сказал ротмистр. – Прошу других следовать моему примеру.

Другой офицер разделся, и его обыскали таким же образом, потом третий, и так все мы по очереди уже позволили себя осмотреть, и оставался еще не обысканным только один Саша, как вдруг в ту самую минуту, когда до него дошла очередь, в дверь из коридора раздался стук.

Мы все вздрогнули.

– Не пускать никого! – скомандовал ротмистр.

Стук повторился настойчивее.

– Да какой это черт там ломится? Мы не можем пустить никого постороннего на такое срамное дело. Кто бы это ни был – прогнать его к дьяволу.

Но стук снова повторился, и вместе с тем послышался знакомый голос:

– Прошу отворить – это я.

Голос принадлежал нашему полковнику.

.....

.....

Офицеры переглянулись.

– Откройте же, господа, двери, – просил полковник.

– Откройте! – сказал, застегиваясь, ротмистр.

Двери отперли, и командир, очень мало нами лю-

бимый, вошел přátельски с редко посещавшей его лицо ласковой улыбкой.

– Господа! – заговорил он, не успев оглядеться, – у меня дома все благополучно, и я после пережитых мною тревожных минут вышел пройтись по воздуху и, зная ваше товарищеское желание разделить мою семейную радость, сам зашел сказать вам, что мне бог дал дочь!

Мы стали его поздравлять, но поздравления наши, разумеется, были не так живы и веселы, как полковник вправе был ожидать по тому, что узнал о тронувших его наших сборах, и он это заметил, – он окинул своими желтыми глазами комнату и остановил их на постороннем человеке.

– Кто этот господин? – спросил он тихо.

Ротмистр ему отвечал еще тише и сейчас же в коротких словах передал нашу смутительную историю.

– Какая гадость! – воскликнул полковник. – И чем же это кончено, или до сих пор еще не кончено?

– Мы все заставили его нас обыскать, и к вашему приходу остался необысканным только один корнет N.

– Так кончайте это! – сказал полковник и сел на стул посреди комнаты.

– Корнет N, ваша очередь раздеться, – позвал ротмистр.

Саша стоял у окна со сложенными на груди руками и ничего не отвечал, но и не трогался с места.

– Что же вы, корнет, – разве не слышите? – позвал полковник.

Саша двинулся с места и ответил:

– Господин полковник и все вы, господа офицеры, – клянусь моею честью, что я денег не крал...

– Фуй, фуй! к чему такая ваша клятва! – отвечал полковник, – все вы здесь выше всяких подозрений, но если товарищи ваши постановили сделать, как они все сделали, то то же самое должны сделать и вы. Пусть этот господин вас обыщет при всех – и затем начнется другое дело.

– Я *этого не могу*.

– Как?.. чего не можете?

– Я денег не крал, и у меня их нет, но я обыскать себя не позволю!

Послышался недовольный шепот, говор и движение.

– Что это? Это глупо... Почему же мы все позволили себя обыскать?..

– Я не могу.

– Но *вы должны* это сделать! Вы должны, наконец, понять, что ваше упрямство усиливает унижительное для всех нас подозрение... Вам должна, наконец, быть дорога если не ваша честь, то честь всех

ваших товарищей – честь полка и мундира!.. Мы все от вас требуем, чтобы вы сейчас, сию минуту разделись и дали себя обыскать... И как поведение ваше уже усилило подозрение, то мы рады случаю, что вы можете быть обысканы при полковнике... Извольте раздеваться...

– Господа! – продолжал бледный, покрывшийся холодным потом юноша, – я денег не брал... Я вам клянусь в том отцом и матерью, которых люблю больше всего на свете. И на мне денег этого господина нет, но я сейчас вышибу эту раму и брошусь на улицу, но не разделюсь ни ради чего на свете. Этого требует *честь*.

– Какая честь! что за честь может быть выше чести общества... чести полка и мундира... Чья это честь?

– Я вам не скажу больше ни слова, но я не разделюсь, и у меня в кармане есть пистолет – я предупреждаю, что выстрелю во всякого, кто захочет меня тронуть силой.

Юноша, говоря это, то бледнел, то горел весь как в огне, задыхался и блуждающим взором глядел на дверь с томящим желанием вырваться, меж тем как в руке его, опущенной в карман рейтуз, щелкнул взведенный пальцем курок.

Словом, Саша был вне себя, и этим экстазом он остановил весь поток направленных к нему убеждений и всех заставил задуматься.

Поляк первый обнаружил к нему самое большое и даже трогательное участие. Забывая свое уединенное и вполне невыгодное, нерасполагающее положение, он с выражением какого-то заразительного ужаса закричал:

– Проклятье! проклятье этому дню и этим деньгам! Я не хочу, я не ищу их, я о них не жалею, я никому никогда ни одного слова не скажу об их пропаже, но только ради создавшего вас Саваофа, ради страдавшего за правду и милость Христа, ради всего, что кому-нибудь из вас жалко и дорого, – отпустите этого *младенца* ...

Он сказал именно «младенца» вместо юноши, и вдруг совершенно иным, как будто из каких-то глубоких недр души исходящим голосом добавил:

– Не ускоряйте рока... Разве вы не видите, куда идет он...

А он, то есть Саша, действительно в это время шел или, лучше сказать, пробирался мимо офицеров к двери.

Полковник следил за ним желтыми белками своих глаз и проговорил:

– Пусть уходит...

И потом он еще тише добавил:

– Я, кажется, что-то понимаю.

Саша достиг порога, остановился и, оборотясь ко

всем лицом, сказал:

– Господа! я знаю, как я оскорбил вас и как дурен должен быть в глазах всякого мой поступок. Простите!.. я иначе поступить не мог... Это моя тайна... Простите!.. Это честь...

Голос его заволновался – точно в нем задрожали чистые детские слезы, и он застыдился их – захотел их скрыть, – он закрыл ладонью глаза, крикнул: «простите!» и выбежал.

## Глава восьмая

Очень трудно излагать такие происшествия перед спокойными слушателями, когда и сам уже не волнуешься пережитыми впечатлениями. Теперь, когда надо рассказать то, до чего дошло дело, то я чувствую, что это решительно невозможно передать в той живости и, так сказать, в той компактности, быстроте и каком-то натиске событий, которые друг друга гнали, толкали, мостились одно на другое, и все это для того, чтобы глянуть с какой-то роковой высоты на человеческое малоумие и снова разлиться где-то в природе.

Если вы читали, что писал Жаколио или пишет о загадочных вещах наша соотечественница Рада-Бай, то вы, может быть, прислушались к тому, что она повествует о «психической силе» у индусов и о зависимости этой силы от «умственного настроения». Психическая сила, может быть, есть и в том франте, который проходит по тротуару, помахивая тросточкой и насвистывая из Орфея: – «И в-о-т м-ы шли, – и в-о-т м-ы шли». Но подите-ка докопайтесь в нем, где у него завалена эта сила, да и к чему ее приложить можно. Екклезиаст прекрасно представляет это в примере тени, падающей от дерева по направлению получаемого освещения... В общей суматохе все метутся и при-

нимают за важнейшее то, что вовсе не важно, а один иначе настроенный взгляд видит и замечает настоящее и самое главное в эту минуту – и вот вам «психическая сила».

Во мне как будто сверкнул какой-то маленький ее клочок, когда выбежал Саша. Что-то было страшное в его движении и в обороте, – в быстром скачке не скачке, а в каком-то отдалении, – словно он оторвался и унесся бесследно... Даже шагов его не было слышно по коридору, а только что-то прошумело... Поляк сразу же бросился вслед за ним... Мы думали, что он хочет его настичь и обличить в краже, так как Саша, если помните, имел роковое несчастье заходить еще ранее ошибкою в его комнату и, стало быть, становился еще подозрительнее по отношению к пропавшим деньгам (а мы все уже волею-неволею верили в то, что деньги были и пропали). Несколько человек сделали быстрое движение, чтобы преградить Августу Матвеичу путь к двери, а полковник крикнул ему:

– Остановитесь, милостивый государь, ваши деньги будут вам заплачены!

Но поляк с удивительною силою отбросил офицеров, а полковнику крикнул в ответ:

– Пусть черт возьмет деньги! – и выбежал вслед за Сашей.

Тут только все мы вспомнили свой непроститель-



ный промах, что, дозволяя обыскивать самих себя, мы не потребовали того же самого от причинившего нам все это беспокойство поляка, и кинулись за ним, чтобы схватить его и не дать ему возможности спрятать деньги и потом взвести на нас унижительную клевету; но в это самое мгновение, которое шло быстрее и кратче, чем идет мой рассказ, в некотором отдалении из коридора послышался как будто удар в ладоши...

Нас прожгла мысль, что поляк оскорбил Сашу ударом в лицо, и мы кинулись на помощь к товарищу, но... помощь ему была бесполезна...

В дверях перед нами стояла, колеблясь, длинная часовая фигура Августа Матвеича с грагамовским циферблатом, на котором все стрелки упали книзу...

– Поздно, – прохрипел он, – *он застрелился.*

## Глава девятая

Мы бросились толпою в маленький номерок, который занимал Саша, и увидели поражающую картину: посреди комнаты, освещенной одною догоравшею свечкой, стоял бледный, испуганный денщик Саши и держал его в своих объятиях, меж тем как голова Саши лежала у него на плече. Руки его повисли, как плети, но согнувшиеся в коленях ноги еще делали такие судорожные движения, как будто его щекотали и он смеялся.

История о деньгах, которая довела до всего этого или по крайней мере подоспела к тому, чтобы подтвердить причинность появления «гиппократов черт» на юном лице бедного Саши, была позабыта... Опасение скандала тоже отодвинулось бог весть куда – все забегали, засуетились, укладывали раненого на постель, требовали докторов и хотели помочь ему, бывшему уже вне всяких средств для помощи... Старались унять кровь, в изобилии стремившуюся из раны, нанесенной большою пулею в самое сердце, звали его по имени и кричали ему на ухо: «Саша! Саша! милый Саша!..» Но он, очевидно, ничего не слышал – он гас, холодел и через минуту вытянулся на кровати, как карандаш.

Многие плакали, а денщик рыдал навзрыд... Из толпы к трупам протеснился коридорный Марко и, верный своему набожному настроению, сказал тихо:

– Господа, это нехорошо над отходящей душой плакать. Лучше молитесь, – и с этим он раздвинул нас и поставил на стол глубокую тарелку с чистой водой.

– Это что? – спросили мы Марко.

– Вода, – отвечал он.

– Зачем она?

– Чтобы омылась и окунулась его душа.

И Марко поправил самоубийцу навзничь и стал заводить ему глазные веки...

Мы все крестились и плакали, а денщик упал на колена и бил лбом о пол так, что это было слышно.

Прибежали два доктора—наш полковой и полицейский, и оба, как нынче по-русски говорят, «констатировали факт смерти»...

Саша умер.

За что? за кого он убил себя? Где деньги, кто вор, который украл их? Что будет дальше с этой историей, которая разлетелась, как выпущенная на ветер пуховая подушка, и ко всем к нам липла?

Все это мешалось, и головы шли кругом, но мертвое тело умеет отвлечь все внимание и заставить прежде всего заботиться о себе.

В номере Саши появились полицейские и лекаря

с фельдшерами и стали писать протокол. Мы оказались лишними, и нас попросили удалиться. Его раздевали и осматривали его вещи при одних понятых, в числе которых был коридорный Марко и наш полковой доктор, да один офицер в виде депутата. Денег, разумеется, не нашли.

Под столом оказался пистолет, а на столе листок бумаги, на котором наскоро, торопливым почерком Саша написал: «Папа и мама, простите – я невинен».

Для того, чтобы написать это, требовалось, разумеется, две секунды.

Денщик, который был свидетелем смерти Саши, говорил, что покойный вбежал, – не садясь к столу, стоя написал эту строчку и сейчас же, стоя, выстрелил себе в грудь и упал ему на руки.

Солдат много раз передавал этот рассказ в неизменной редакции всем, кто его расспрашивал, и потом стоял молча, моргая глазами; но когда подошел к нему Август Матвейч и, взглянув ему в глаза, хотел его расспрашивать более подробно, денщик отвернулся от него и сказал ротмистру:

– Дозвольте, ваше высокоблагородие, мне выйти обмыться, на моих руках кровь христианская.

Ему разрешили выйти, потому что он в самом деле был сильно залит кровью – что являло вид тяжелый и ужасный.

Все это происходило еще на рассвете, и заря уже чуть алела – свет уже чуть пробивался в окна.

В номерах, занятых офицерами, все двери в коридор были открыты, и везде еще горели свечи. В двух-трех комнатках сидели, спустя руки и головы, офицеры. Все они были похожи теперь более на мумий, чем на живых людей. Пьяный чад унесся, как туман, не оставив и следа... На всех лицах выражалось отчаянье и горе...

Бедный Саша, – если бы дух его мог интересоваться земным, – конечно, должен бы найти утешение в том, как все его любили и как всем больно было пережить, его столь молодого, столь цветущего и полного жизнью!

А на нем тяготело подозрение... ужасное, гнусное подозрение... Но кто бы посмел напомнить теперь об этом подозрении усачам, по опустившимся лицам которых струились слезы...

– Саша! Саша! бедный, юный Саша! что ты с собой сделал? – шептали уста, и вдруг сердце останавливалось, и пред всяким из нас вставал вопрос: «И ты тоже не виноват ли в этом? Разве ты не видел, *какой он был?* Разве ты остановил других, чтобы к нему не приставали? Разве ты сказал, что ты ему веришь, что ты уважаешь неприкосновенность его тайны?» Саша! бедный Саша! И что это за тайна, которую унес он с

собою в тот мир, куда он предстал теперь с явной разгадкой погубившей его тайны... О, он чист, конечно, он чист от этого гнусного подозрения, и... проклятие тому, кто довел его до этого поступка!

А кто довел?

## Глава десятая

Комната Августа Матвеича была отворена в коридор точно так же, как и все офицерские комнаты, но в ней не было зажженной свечи, и при слабом рассвете там едва можно было отличить щегольской чемодан и другие дорожные вещи. В углу комнаты стояла слегка смятая постель.

Проходя мимо этой комнаты, непременно хотелось остановиться и поглядеть издали: что в ней такое? Откуда и за что на нас нанесло такую напасть?

Меня лично тянуло зайти сюда и поискать, нет ли пропавших денег здесь – не засунул ли их куда-нибудь сам пострадавший и потом позабыл и развел всю эту историю, стоившую нам стольких тревог и потери прекрасного, молодого товарища. Я даже склонен был исполнить это, я хотел вскочить в номер поляка и поискать и с этим приблизился к двери, но, по счастью, неосторожное легкомыслие мое было остановлено неожиданным предупреждением.

Из конца коридора, с той стороны, где был просторный ротмистерский номер, в котором ночью шла игра и попойка, послышалось несколько голосов:

– Куда? Куда?.. Еще этой глупости не доставало!

Я сконфузился и оробел. Мне вдруг ясно пред-

ставилась моя опрометчивость и опасность, которой я подвергал себя быть заподозренным в особенной близости к этому делу. Я перекрестился и ускоренным шагом пошел в тот угол, откуда донеслись ко мне предостерегшие меня голоса.

Здесь, у полутемного еще окна, выходявшего на север, на грязном войлоке, покрывавшем грязный же коник, служивший постелью ротмистерского денщика, сидели три наши офицера и наш полковой батюшка с заплетенной косою и широчайшею русою бородою, за которую мы его звали «отец Барбаросса». Он был очень добрый человек, принимавший участие во всех полковых интересах, но все выражавший всегда без слов, одним лишь многозначительным качанием головы и повторением короткой частицы «да». Говорил он только в случае крайней необходимости и тогда отличался находчивостью.

Три офицера и батюшка курили вместе из двух трубок, затягиваясь поочередно и затем передавая их для потребности ближнего. Батюшка помещался посередине группы, и потому трубки шли через него и справа и слева – отчего он получал двойную против всех долю наслаждения и притом еще увеличивал его тем, что после всякой сильной затяжки закрывал себе все лицо своею бородою и выпускал из себя дым с большою медлительностию сквозь этот удивительный ре-



спиратор.

Коник, на котором сидели эти добрые люди, приходился вблизи ротмистерских дверей, которые теперь были заперты на ключ, и за ними шла оживленная, но очень сдержанная беседа. Слышен был говор и переменившиеся реплики, но нельзя было разобрать ни одного слова.

Там, запершись на ключ, находились теперь наш полковой командир, наш ротмистр и виновник всех наших сегодняшних бед, Август Матвеич. Они вошли в эту комнату по приглашению полковника, и о чем они там хотели говорить – никому не было известно. Три офицера и батюшка заняли ближайшую к комнате позицию сами – по собственному побуждению и по собственной предусмотрительности, из опасения, чтобы не оставить своих беспомощными в случае, если объяснения примут острый характер.

Опасения эти были, однако, напрасны: разговор, как я уже сказал, шел в приличном тоне, который все более смягчался, и, наконец, даже послышались ноты дружественности и задушевности, – вслед за тем раздалось движение стульев и шаги двух человек, приближавшихся к двери.

Повернулся ключ, и в открытых дверях показались наш командир и Август Матвеич.

Выражение их лиц было если не спокойное, то

вполне мирное и даже дружественное.

Полковник пожал на пороге руку поляка и сказал:

– Очень рад, что могу питать к вам те чувства, которые вы сумели внушить мне при таких ужасных обстоятельствах. Прошу верить моей искренности, так же как я верю вашей.

Поляк с достоинством ответил ему поклоном и молча направился в свою комнату, а полковник обратился к нам и сказал:

– Я спешу домой. Прошу вас всех войти к ротмистру и от него узнать – чего мы все должны держаться.

С этим полковник кивнул нам головой и пошел к выходу, а мы все, сколько нас было, наполнили номер ротмистра прежде, чем внизу прогремел блок выходной двери, затворившейся за нашим командиром.

## Глава одиннадцатая

Наш ротмистр был прекрасный человек, но нервяк, вспыльчивый и горячка. Он был находчив и умен, но не отличался умением владеть собою и дар красноречия имел чисто военный – он более внушал, чем излагал и рассказывал.

Таков же точно он был и в эту минуту, когда мы его застали срывающим с себя галстук и мечущим на всех сердитые взгляды.

– Что?.. хорошо случилось? – обратился он к батюшке.

Тот отвечал: «да, да, да», и покачал головою.

– То-то и есть – «да, да, да». Добрые занятия довели и до добрых последствий.

Батюшка опять протянул: «да, да, да».

– А ведь это ваше бы дело...

– Что такое?

– Внушить нашему брату совсем другое настроение...

– Да.

– А вы никакого влияния не имеете.

– Говори пустяки.

– Нечего «пустяки». Чего вы теперь явились? – теперь надо дьячка псалтырь читать, и ничего более.

– Да в чем дело-то... что делать-то далее? – стали приступать наши. – Полковник ушел – вы пылите и батьку распекаете... Разве мы, в самом деле, его внушений, что ли, стали бы слушать... А где теперь пляк? Черт знает, были ли у него деньги, – что он один теперь у себя в комнате делает? Говорите, пожалуйста, – что решено? Кто же обидчик, кто злодей?

– Черт злодей, черт! Другого никого нет, – отвечал ротмистр.

– Но сам этот пан...

– Этот пан вне всяких подозрений.

– Кто это вам открыл?

– Мы сами, господа, мы сами: я и ваш полковой командир сами за него ручаемся. Мы не говорим вам, что он честнейший человек, но мы ясно видим, что он говорит правду – что деньги у него были и пропали. Их мог взять только черт... А что они были – это доказывается тем, что командир, желая избежать скандальной огласки, здесь при мне предложил ему сегодня же получить от него сполна все двенадцать тысяч, лишь бы не было дела и разговоров, – и он отказался...

– Отказался...

– Да; и *мало того*, что отказался, но он сам вызвался никому не жаловаться на пропажу и ни перед кем не упоминать об этом проклятом происшествии. Словом, он вел себя так честно, благородно и деликатно,

как только можно пожелать.

– Да, да, да! – протянул батюшка.

– Да; и мы с полковником дали ему слово, что и мы и вы будем питать к нему полную доверенность и станем считать себя все его должниками в течение года, – и если, по истечении года, ничто не разъяснится и деньги не отыщутся, тогда мы платим ему двенадцать тысяч, а он их тогда дал согласие взять...

– Разумеется, мы это принимаем и будем перед ним исправны в нашем долге, – подхватили офицеры.

– Но, господа, – продолжал ротмистр, понизив голос, – он уверен, что мы и не будем платить, – он почему-то утверждает, что *эти деньги найдутся*. Он говорит об этом так твердо и с такою уверенностью, что если только верно, что вера может переставлять горы, – то его уверенность должна сбыться... Да, да – она должна сбыться, ибо это цена крови... Он передал, просто сказать, он перелил эту веру в нас с полковником, и хотя он просил нас, чтобы мы его обыскали, но и я и полковник от этого отказались... Вам предоставляю сделать, что вам угодно, – он пошел в свой номер и будет ждать вас там без выхода, чтобы вы его обыскали. Можете. Но условие у нас одно: мертвое молчание об этом перед всеми. На это я требую от вас честное слово.

Мы дали честное слово и номер Августа Матвеича

обыскивать не пошли, а только зашли к нему наскоро  
пожать его руку.

## Глава двенадцатая

А тем не менее во всех осталось полное тяжелое недоумение и скорбь о человеке, а там над бедным Сашей производилось вскрытие; написан фальшивый по существу акт о том, что он «лишил себя жизни в припадке умопомешательства»; батька отпел панихиду, и дьячок тянет монотонно Псалтырь: «Им же образом желает елень на источники водные, сице желает душа моя ко Богу крепкому, Богу благодеявшему мне».

Томленье духа. Ходишь, ходишь, куришь до бесчувствия и уйдешь и заплачешь. Какая юность, какая свежесть угасла!.. Вот именно «вкусил мало меду и умер».

Все мы, боевые или по крайней мере предназначенные к боям люди, раскисли и размякли. Поляк тоже не хотел уезжать – он хотел проводить с нами Сашу в могилу и видеть его отца, за которым рано утром послали и ждали его в город к вечеру.

Если бы не коридорный Марко, то мы бы забыли время есть и пить, но он бдел над нами и много делал и для покойника. Он его обмывал, одевал и рассказывал, что надо купить и где поставить, да и нас уговаривал успокоиться.

– На все воля Господня! – говорил он, – мы все как трава.

И сейчас же опять бежал по другим делам. Другие слуги под каким-то предлогом были арестованы, и в вещах их был сделан обыск. Денщика покойного Саши тоже обыскали и даже допросили: не передал ли ему чего-нибудь перед своею смертью самоубийца.

Солдат, казалось, не сразу понял этот вопрос, но потом отвечал:

– Его благородие никаких денег мне не передавал.

– Ты помнишь, что тебе может быть за утайку?

– Как же-с, помню.

Разумеется, все это спрашивали не мы, а следственные власти, которым нельзя увлекаться щекотливостью.

Денщика отпустили, и он тотчас же ушел и стал чистить запасные Сашины сапоги.



## Глава тринадцатая

Вечером приехал отец. Он был очень милостивый и совсем еще не старый – не более лет пятидесяти двух или трех. Манера держаться у него была военная, и он был в отставном военном сюртуке, со шпорами, но без усов. Мы его никогда ранее не видали и потому не заметили, как он вошел в комнату сына, а узнали его уже тогда, когда он оттуда вышел.

Он с приезда спросил денщика, и тот повел его и оставался с ним один на один, с глазу на глаз при покойнике около двух-трех минут. И после этого короткого времени отец вышел к нам в зал, имея вид, поразивший нас своим тихим величием.

– Господа! я представляюсь вам, – начал он, кланяясь, – я отец вашего несчастного товарища! Мой сын умер, он убил себя... он осиротил меня и свою мать... *но он не мог поступить, господа, иначе ...* Он умер как честный и благородный молодой человек, и... и... это то, в чем я уверяю вас и... в чем я сам буду искать себе утешения...

С этими словами сразу обаявший нас старик упал на стул к круглому столу и, закрыв лицо руками, звонко заплакал, как ребенок.

Я поспешил подать ему дрожащею рукою стакан

воды.

Он принял ее, проглотил два глотка и, ласково сжав мою руку, молвил:

– Благодарю вас всех, господа.

А потом обмахнулся платком и сказал:

– Не то еще... Я что такое? Но жена, жена как узнает!.. Материнское сердце не вынесет.

И он опять утерся платком и поехал «представить» полковнику».

Полковнику он сказал тоже, что Саша «умер как должно честному и благородному молодому человеку» и что «иначе он поступить не мог».

Полковник глядел на него в упор долго, кусая, по своему обычаю, маленький леденец, и потом сказал:

– Вы знаете, что этому предшествовало одно несчастное обстоятельство... Мы с вами ведь в свойстве, и потому я вам могу и должен сказать все. Я ничему не верю, но поведение корнета было-таки странно...

– О, оно было совершенно необходимо, полковник...

– Я верю, но если бы вы могли приподнять перед моими глазами хоть уголок завесы, закрывающей эту тайну...

– Не могу, полковник.

Полковник пожал плечами.

– Что делать, – сказал он, – пусть все так остается.

– Кроме одного, полковник. Деньги княжескому управителю полк платить не будет, потому что их плачу я. Это мое грустное право.

– Не смею спорить.

И отец Саши действительно в тот же самый день с глазу на глаз подал Августу Матвейчу двенадцать тысяч.

Поляк взял пачку и, сказав: «никогда!» – положил ее снова в карман старика, и они сели друг против друга и оба стали плакать.

– Великий боже! великий боже! – восклицал старик, – все это такое честное, такое благородное – и между тем есть же злодей, который здесь что-то сделал.

– И он найдется.

– Да; но сын мой не воскреснет.

## Глава четырнадцатая

А в чем же была тайна?

Чтобы рассказ стал, наконец, понятным, – надо нескромно раскрыть ее.

На груди Саши был акварельный портрет его милой розовой кузины Ани, которая была теперь его полковницей и дала жизнь новому человеческому существу в то самое мгновение, когда Саша самовольно разрешил себя от жизни.

Этот портрет был залог не столько страстной любви, как светлой детской дружбы и целомудренных обетов; но когда розовая Аня сделалась женой полковника и тот стал ревновать ее к кузену, – Саша почувствовал себя в томленьях Дон-Карлоса. Он довел эти муки до помрачающих терзаний и... в эту-то пору подвернулся случай с деньгами и с обыском, к которому, как на грех, подошел полковник.

Саша не выдал тайны кузины.

Держа уже пистолет у груди, он подал этот портрет денщику и сказал:

– Богом заклинаю – отдай отцу.

Тот и отдал его через гроб покойного.

Отец сказал, что его сын «умер, как должно честно-му и благородному молодому человеку».

Портретик был чистый, невинный, даже мало схожий с тою, кого изображал он, с дробною надписью: «Милому Саше его верная Аня».

И ничего более...

Это теперь смешно – пожалуй, даже глупо! Да, да, быть может, все это так. «Что ни время – то и птицы, что ни птицы – то и песни». Я вам никого не аттестую и ничего не критикую, но только я насчет *интересности*, как ее женщины чувствуют.

Что это такое был корнет Саша? Так себе, ничего или очень мало, – розовый мальчик, дворянчик, белогубый выкормочек в мундире. Ничего у него, никаких пленительных даров, кроме дара молодости и... безоглядного *чувства личной чести женщины* ... И вот подите-ка, что вы скажете: было ли тут перед чем пасть и преклониться? А я вам расскажу, как пали и преклонялись.

Истории той тайны, которую я вам сейчас по необходимости рассказал, в городе тогда никто никому рассказать не мог, потому что о ней только кое-что знал денщик, а вполне понимал ее один отец самоубийцы. Кроме того, явилось еще обстоятельство, которое не только могло, но и непременно должно было все это спутать, благодаря ошибке Марко, который видел и, крестясь, рассказал многим по секрету, как денщик покойного передал что-то тайно из рук в руки

его отцу. Что это могло быть такое, что один из них передал, а другой взял и спрятал с такою тайнностью?.. Бог знает. Марко крестился и говорил:

– Не хочу брать на свою душу греха, – не мог рассмотреть, что именно такое, а только видел, что какой-то пакетец в бумажке передан.

Не это ли были деньги? Почему бы так не думать при тех смутных обстоятельствах, которые я вам описываю и которые, как всякое подозрение, становились час от часу бестолковее и способнее распространять на все свою деморализующую подозрительность... Не всякий ли, имеющий руки, имеет и средства взять ими? Открыть вора – вот в чем первая задача; не упустить малейшего подозрительного признака – вот в чем обязанность каждого...

Да, каждого, кто думает, что желчные глаза подозрительности видят лучше, чем светлое око растроганного сердца; но, к счастью рода человеческого, ему доступны бывают и великие душевные откровения, когда люди как бы осязают невидимую правду и, ничем не сдерживаемые, стихийно стремятся почтить скорбью несчастье. Это своего рода священные бури, ниспосылаемые для того, чтобы разогнать сгустившийся удушливый туман, – в них есть «дыханье свыше», в них есть откровенье, которому ясно все, что закрыто сплетеньем.

Марко даже не давали воли говорить о том, что он видел... Все *знали*, что такое денщик передал отцу бедного Саши: *это был женский портрет* ... В этом ни на одно мгновение не хотела усомниться ни одна человеческая душа – об этом говорил свет, глядевший в окно, где совершилась с глазу на глаз таинственная передача; этим дышал воздух, об этом разливался песнью жаворонок...

Похороны Саши были не торжественны и даже не трогательны, а они были ужасны. Все вы, господа, видели торжественные погребения с тем, что называют «помпой»... Я не говорю о похоронах с парадом, которыми, по моему мнению, выражается только одна жалкая суэта человеческая. Вспомните похороны Гоголя, о которых мы читали такие прекрасные описания, похороны Некрасова и Достоевского, которые называли «событием в истории». Все это, конечно, имеет значение и, быть может, не лишено искренности, но только искренность-то тут слишком загромождена чем-то ей посторонним. Я видел, как в Москве хоронили Скобелева... Тут больше чем где-нибудь прорывалось того, что отдает настоящей скорбью, но – смейтесь надо мною, если вам угодно, а я, стоя там, вспоминал и сравнивал тот значительно оригинальный день моей молодости, когда мы хоронили Сашу... Какое сравнение! Тоже и ему, как офицеру, мы устро-

или по уставу «церемонию», но ее никто не видел и не замечал, хотя она и занимала самое видное место. То, что сделала в честь его истинная скорбь людей, устремившихся отовсюду, чтобы рыдать и терзаться при виде его молодого мертвенно бледного лица, подавило все и, кажется, самый воздух пропитало трепетом.



## Глава пятнадцатая

Никого не собирали на эти похороны, кроме эскадрона, в котором служил покойник, но люди во множестве сами пришли отовсюду. Вдоль всего пути от гостиницы вплоть до кладбищенской церкви стали люди разного положения. Женщин больше, чем мужчин. Им никто не внушал, о чем надо жалеть, но они сами знали, что надо оплакать, и плакали о погибшей молодой жизни, которая сама оборвала себя «за благородность». Да-с, я вам употребляю то слово, какое все говорили друг другу.

– За благородство свое, голубчик, помер!

– Себя не пожалел для милого сердца! Стоит этакая подгородной слободы баба-тетеха и причитает:

– Соколик ты ясный... жизньюшку свою положил за благородность...

И, куда ни повернитесь, все в том же роде что-то тепло, тепло и фамильярно лепечут. Непременно на «ты» и чтоб поласковой – будто до сердца обнимает.

– Крошка ты милый!.. молодой, благородный!..

– Ангел ты мой чувствительный!.. Как тебя не любить было!

И всё так... Дворянки, купчихи, поповны, мещанки, горничные и хоровые цыганки – и особенно эти

последние, как профессорины и жрицы трагического стиля в любви, – все лепечут дрожащими устами теплые словца и плачут о нем, как о лучшем друге, как о собственном возлюбленном, которого будто последний раз держат и ластят у сердца.

А всё ведь это женщины не ахти какие, и они Сашу совсем и не знали, может быть ни разу не видали и, пожалуй, может быть даже совсем ни за что и не полюбили бы его, когда бы знали его со всем, что в нем было хорошего и дурного. А вот тут, когда он «за благородство» да за «милое сердце», – тут уж нет ни минуты, чтобы рассуждать и отрезвлять себя каким-нибудь рассуждением, а надо причитать и плакать... Вон из тела душа просится...

Иннокентий однажды так всех тронул: вышел да вместо ораторства говорит: «Он в гробе – давайте плакать», вот и все, – и слезы льются и льются из глаз. Это была какая-то общая трясовица сердец. Женщины вглядывались в проносимое мимо лицо Саши (там носят покойников в открытом гробе), и все находили его очень обыденное личико самым величественным и прелестным... Так, говорят, и написано: «верность до гроба!»

Что за дело, что, может быть, не совсем то было написано? Они читали то, что видели их глаза, – и этого довольно.

Тьмы низких истин нам дороже  
Нас возвышающий обман.

Губы нервно дрожат, и лица мокры от слез; все нежны, все с ним говорят:

– Усни, усни, мой страдальчик!

В церкви иное настроение, еще острее. Ораторское искусство и не дерзает ни на минуту испортить тот священный строй, к которому все выше и выше возводит сердца песнотворческий гений Дамаскина. Его поэтический вопль и жжет и заживляет рану.

Иду в незнаемый я путь,  
Иду меж страха и надежды;  
Мой взор угас, остыла грудь,  
Не внемлет слух, сомкнуты вежды;  
Лежу безгласен, недвижим,  
Не слышу вашего рыдания  
И от кадила синий дым  
Не мне струит благоуханье.  
Но, вечным сном пока я сплю,  
Моя любовь не умирает,  
И ею всех я вас молю,  
Пусть каждый за меня взывает:  
Господь! В тот день, когда труба  
Вострубит мира преставленье, —  
Прими усопшего раба

В твои блаженные селенья.

И уж я вам, милостивые государи, доложу, что уж действительно... припадали с этим к господу-то!.. Да ведь с слезами-с, с каким плачем-с!.. Как велик грех Саши-розана по богословской науке – в этом оплакивавшие его были не знатоки, но уж умоляли «принять его в блаженные селенья» так неотступно, что я, право, не знаю, как тут согласить этот душевный вопль с точными положениями оной науки... Я бы в этом запутался.

Нынче многие укоряют наших, что они очень плохие ораторы. Не напрасно ли? Правда, что ораторы – плохие, да ведь не везде хорошо говорить, где принято. Есть случаи, где просто лучше плакать, где вопли «прими» и «прости» пристойней рацей, которые иной как пойдет разводить, так и договорится до чего-нибудь такого, что либо оскорбляет разум, либо оскорбляет чувство. Вспомните шиллеровского великого инквизитора. Зато я и люблю погребение по восточному чину. Приходят и уходят как-то... точно на зов пророка Исаии: «Приидите и стяжемся»... Но где тут стяжаться? Кто победит – ясно. А *ты* вот все можешь, *ты* призвал, *ты* изменил зрак и положил «красоту», как «неимущую вида» – так ты же «забудь», «прости» и «презри» все, чем он не оправдал себя перед *тобою*

...  
Все пепел, призрак, тень и дым,  
Исчезнет все, как вихорь пыльный,  
Исчезнет все, что было плоть,  
Величье наше будет тленье, —  
Прими усопшего, Господь,  
В твои блаженные селенья.

Снова всё опять к тому же и к тому: «прости!»

Вспомнишь притчу о вельможе, который «никого не боялся и ничего не стыдился», а между тем когда и к такому усердно пристали, то и он сказал наконец: «сделаю», — и успокоишься.

*Он* ли, который сам создал ухо, чтобы все слышать, *он* ли задремлет, *он* ли уснет, *он* ли не сделает, что просит голос стольких растроганных душ...

Пусть даже и «вере могила темна», но уж пристойнее и трогательнее обходиться с этим, как придумали обходиться восточные христиане, кажется, невозможно. Со вкусом поэт был Дамаскин!

Еще случай тут вышел на Сашиных похоронах со вдовой одного бывшего вельможи. Это была дама родовитая, умная, очень воспитанная, а называлась она «змеею». Кличка эта была глупая, змеей эту даму звали не за зло, которого она решительно никому не делала, а за презрительность, про которую гово-

рили много. Она будто не любила ничего своего, русского – ни языка, ни веры, ни обычая, а все презирала, и презирала не с легкомыслием, не с фатовской замашкой, которые легче простить, – а прочно, глубоко и искренно, с каким-то сознанием. Она ничего не порицала и не отвергала, а считала все русское даже не заслуживающим внимания... Она даже удивлялась, что географы на ландкартах Россию обозначают... Такие дамы тогда были. А и эта, услышав, что все плачут по каком-то офицере, который «застрелился за благородство», – велела открыть двойную дверь на своем балконе, мимо которого несли Сашу, и вышла с лорнетом. Я ее помню: высокая, в гранатовой шубке на собольем меху, стоит и смотрит в лорнет.

А юный наш Саша, с открытым лицом, словно оторванная ветка плывет перед нею по людным волнам.

«Змея» подавила вздох и сказала стоявшей с ней англичанке:

– Юность безумна везде – безумие же иногда схоже с геройством, а героизм нравится массе.

Англичанка отвечала:

– О yes!<sup>6</sup> – и при этом прибавила, что ее интересует замечаемое дружное, всеобщее чувство. «Змея» из деликатности к желанию чужестранки согласилась пойти в церковь, где надо всем поставит последнюю

---

<sup>6</sup> О да! (англ.)

точку молоток гробовщика по гробовой крышке.

## Глава шестнадцатая

Против всяких законов архитектоники и экономии в постройке рассказа я при конце его ввел это новое лицо и должен еще сказать вам об этой даме, чтобы вы знали – до чего она была язвительна. Когда супруг ее был на земле, они однажды принимали у себя такое лицо, перед которым хозяин хотел показаться в блеске своего значения, а она презирала мужа, как и всех, или, может быть, немножко более. Муж это знал и запросил у нее прощенья. Только одного просил: «Не опровергайте меня». Она посмотрела на него и согласилась.

– Я даже готова вас поддержать.

Муж ей поклонился на этом. Высокий гость был доброго нрава и иногда любил говорить запросто. Так и в этот раз он пожелал слушать администратора за чаем, который кушал, получая чашку прямо из рук хозяйки. Хозяин и пошел ему читать, как он все видел, все знал, все предохранял, предупреждал и устраивал общее благо... Говорил он, говорил и, наконец, ошибся и что-то правду сказал. А «змея» сейчас его здесь и поддержала, и прошипела:



– Voilà ça c'est vrai.<sup>7</sup>

Ничего больше – только и сказала, а гость не выдержал, потупился и рассмеялся, у нее поцеловал руку, а супругу ее сказал:

– Ну, хорошо, хорошо, довольно: я буду верить, что tout за est vrai<sup>8</sup>

Так она его с этим и похоронила, и с той поры жила здесь с одной своей англичанкой и читала иностранные книги.

На людях ее никогда не видали, и потому теперь, когда она с своею англичанкою показалась в церкви, где отпевали Сашу, – на нее все взглянули, и всякий потеснился, и им двум нашлось место. Даже толпа будто сама их придвинула вперед, чтобы посмотреть на них. Но высшим велением угодно было, чтобы ничто постороннее не отвлекало общего внимания от того, что ближе касалось бедного Саши.

В то самое мгновение, как две важного вида дамы подвигались вперед, на пороге дверей еще появилась одна женщина – скромная, в черной шелковой шубке: одежда ее как пеплом посыпана дорожным сором, лицо ее – воплощенье горя...

Ее никто не знал, но все узнали, и в толпе пронеслось слово:

---

<sup>7</sup> Вот это действительно правда (*франц.*).

<sup>8</sup> все это правда (*франц.*).

– Мать!

Все ей дали широкий путь к драгоценному для нее гробу.

Она шла посреди раздвинувшейся толпы – скоро, протянув вперед перед собой обе руки, и, донесясь к гробу, – обняла его и замерла...

И пало и замерло с нею все... Все преклонили колена, и в то же время все было до того тихо, что когда «мать» сама поднялась и перекрестила мертвого сына, – мы все слышали ее шепот:

– Спи, бедный мальчик... ты умер честно.

Ее уста произнесли эти слова тихим, едва заметным движением, а отозвались они во всех сердцах, точно мы все были ее дети.

Молоток гробовщика простучал, гроб понесли к выходу; отец вел под локоть эту печальную мать, а глаза ее тихо смотрели куда-то вверх... Она верно знала, где искать сил для такого горя, и не замечала, как к ней толпились со всех сторон молодые женщины и девушки и все целовали ее руки, как у святой...

От могилы к воротам кладбища снова тот же натиск и то же движение.

У самых ворот, где стоял экипаж, «мать» как бы что-то поняла из окружающего: она обернулась и хотела сказать «благодарю», но пошатнулась на ногах. Ее поддержала стоявшая возле «змея» и... поцеловала

ее руку.

Так всех растрогал и расположил к себе наш бедный Саша, так был оценен всеми простой и, может быть, необдуманый порыв его – «не выдать женщину».

Никто не останавливался над тем, что это за женщина и стоила ли она такого жертвоприношения. Все равно! И что это была за любовь – на чем она зиждилась? Все началось точно с детской, точно «в мужа с женою играли», – потом расстались, и *она*, по своей малосодержательности, быть может, счастлива, мужа ласкает и рождает детей, – а *он* хранит какой-то клочок и убивает себя за него... Это все равно! *Он* – то хорош, *он* всем *интересен*! О нем как-то легко и приятно плакать.

Словом, никого тут нельзя отметить титулом особого величия, а все серьезно и верно ведут свои роли, – вот как актеры занимавшей недавно Петербург мейнингенской труппы. Все *серьезно* поставлено!

Англичанка, про которую я, например, говорил вам, – лицо нам всех более постороннее. Ей выходка Саши, верно, должна была представляться совсем не так, как плакавшим о нем хоровым цыганкам; и довольно бы ей, кажется, прийти, посмотреть и уйти в себя снова. Так нет же – и она хотела свой штрих провести на картине. Она писала свои заметки о России,

и, разумеется, делала это основательно, сверялась с тем, кто прежде ее посещал нашу родину и что говорил о наших нравах, а потом обо всем дознавала в новом, что видела, и отмечала. В старых справках она почерпнула, что «на жен нет подлей как на Москве», а дабы верно отметить новый факт, она выбрала время и адресовалась к самому Сашину отцу. Она послала ему деликатное письмо, в котором выражала сочувствие его скорби и чрезвычайному достоинству, с каким он и его жена перенесли свое горе. В заключение она просила позволения знать: кто руководил их воспитанием, давшим всем им столько достойного чувства?

Старик отвечал, что его жена училась во французском пансионе, а его воспитанием руководил *monsieur Ravel*<sup>9</sup> из Парижа.

Англичанка находила странность в этом известии, но «змея» помогла ей, сказав:

– Если бы их учил семинарист, то вы, быть может, даже не получили бы ответа.

Тогда думали, что все грубое и неприкладное к жизни идет из семинарий, и винули их так же искренно и неосновательно, как в последовавшую за тем недавнюю эпоху хотели было заставить всех нас судить о вещах с грацией мыслителей из «Бурсы» Помялов-

---

<sup>9</sup> господин Равель (франц.).

СКОГО.

## Глава семнадцатая

Остается покончить с уголовщиной, которая во всяком разе была в моей истории. Украдены или нет деньги, а вспомните, что ведь было положено возвратить их поляку, и к этому еще было добавление.

Кроме полковых товарищей, явился еще добровольный плательщик, и притом самый настойчивый — это Сашин отец. Поляку стоило больших усилий отказаться от его требований немедленно принять эти деньги, но Август Матвеич их не взял. Вообще он вел себя во всей этой истории в высшей степени деликатно и благородно, и мы ни в чем не находили, чтобы его укорить или заподозрить. В том, что деньги были и пропали, уже никто из нас не сомневался. Да и как иначе: раз он не берет предлагаемых ему денег, то какую же он мог иметь цель, чтобы сочинить всю эту хлопотливую историю с кровавым концом?

Городское общество, для которого наше ночное происшествие не могло остаться в совершенном секрете, было того же мнения, но одна голова обдумала дело иначе и задала нам загвоздку.

Это был неважный и несколько раз уже мною вскользь упомянутый коридорный наш Марко. Он был парень замысловатый, и, несмотря на то, что через

него мы и узнали об Августе Матвейче, – Марко теперь стоял не на его и даже не на своей стороне и так нам по секрету и высказывался.

– Я, – говорит, – себя клятве и отлучению за это готов поддать, потому что я о нем вам доложил, но как теперь я подразумеваю, то это не столько моя вина, как божие попущение. А ваше нынешнее на него расположение больше ничего, как – извините – это за то, что он не русского звания и через него об нас прошла слава про заведение, и полиция без причины, под разными выдумками, служащих забирает и все напрасно к этим деньгам сводит, чтобы путались... Грех один только, грех, и ничего больше, как грех, – заключал Марко и уходил к себе в темную каморочку, где у него был большой образник и перед ним горела неугасимая лампада.

Его иногда становилось жалко: он, бывало, по целым часам стоит здесь и думает.

– Все думаешь, Марко?

Пожмет плечами и отвечает:

– Лъзя ли, сударь, не думать... Такое несчастье... срам, и позор, и гибель душе христианской!

Те, кто более с ним разговаривали, первые стали иметь мысли, которые потом мало-помалу сообщались и прочим.

– Как хотите, – говорили, – Марко, разумеется, про-

стой человек, из крестьян, но он умен этим... нашим простым... истинно русским умом.

– И честен.

– Да, и честен. Иначе бы, разумеется, хозяин его не поставил над делом. Он человек верный.

– Да, да, – поддакивал наш батюшка, пуская себе дым в бороду.

– А он, смотря просто, видит, может быть, то, чего мы не видим. Он судит так: для чего ему было это делать? Денег он не берет. Да ему деньги и не надобны...

– Очевидно не надобны, если не берет, когда ему их предлагают.

– Конечно! Это не из-за денег и делано...

– А из-за чего же?

– А-а, уж об этом вы не меня, а Марко спрашивайте.

И батюшка так поддерживал:

– Да, да, да – отселе услышим Марко.

– А что же глаголет Марко?

– А Марко глаголет: «Не верь поляку».

– Но почему же?

– Потому, что он есть поляк и неверный.

– Ну, позвольте, позвольте! Однако ведь *неверный* – это одно дело, а *вор* – это совсем другое. Поляки народ амбиционный, и о них этак думать... не того... нечестно.



– Да позвольте, пожалуйста, – перебивает вдохновленный Марко рассказчик, – «этак думать», «этак думать»; а сами, наверное, вовсе и не знаете, о каком думанье говорится... О воровстве нет и речи, нет и подозрения, а поляку именно то самое и принадлежит, что сами ему присвоиваете, – то есть именно *амбиция*.

– Да что же ему нужно было, чтобы пропали деньги?

– Поляку-то?

– Да-с.

– Вам в голову ничего не приходит?

Все начали думать: «Что такое мне приходит в голову?»

– Нет – ничего не приходит.

– Это оттого, что у нас с вами, батюшка, головы-то дворянством забиты, а простой, истинно русский человек – он видит, что поляку надо.

– Да что же ему надо, – говорите, ведь это всех касается!

– Да, это всех касается-с. Ему в авантаже его родины было, чтобы нас обесславить...

– Батюшки мои!

– Конечно-с! – пустить в ход, что в обществе русских офицеров может случиться воровство...

– А ну как это в самом деле *так!*

– Да нечего гадать: это *так* и есть!

– Ах, черт бы его взял!

– Экий коварный народ эти поляки! И батюшка под-  
держал, сказав:

– Да, да, да.

А потом еще подумали и нашли, что соображения Марко не следует скрыть от командира, но только не надо обнаруживать, что это от Марко, потому что это может вредить впечатлению, а указать какой-нибудь источник более авторитетный и безответственный.

– В трактире, в бильярдной кто-то говорил...

– Нет, – это нехорошо. Полковник скажет: как же вы слышали такую мораль и не вступились. Арестовать надо было, кто это говорил.

– Надо выдумать другое.

– Да что?

Вот тут нам батюшка и помог:

– Лучше всего, – говорит, – сказать, что в общей ба-  
не слышали.

Это всем понравилось. В самом деле, ведь умно: баня – место народное, там крик, шум, говор, вместе все голые жмутся и вместе на полке парятся – вместе плескаются... А кто сказал?.. разбери-ка поди или зарестуй... Всех разве надо брать, потому что тут все люди ровненькие, все голенькие.

Так и сделали; и батюшку же самого упростили с

этим и пойти.

Он согласился и на другой же день все выполнил.

Полковник тоже этим слухом заинтересовался и говорит:

– И что всего хуже, что это уже сделалось общей молвою... в народе, в бане говорится. Батюшка отвечает:

– Да, да, да! всё в бане... Я это все в бане слышал.

– И что же вы... решительно не могли узнать, кто это говорил?

– Не мог-с. Да, да, да, решительно не мог.

– Очень жалко.

– Да... я очень хотел узнать, но не мог, потому что все, да... знаете, в бане все одинаковы. Нас, духовных, еще кое-как отличить можно, потому мы мужчины, но с косами, а простые люди, кои без этого, все друг на дружку похожи.

– Вы бы могли за руку схватить того, кто говорил.

– Помилуйте – намыленный сейчас выскользнет!..

И притом, как я в это время на полке парился, то мне даже нельзя было его и достать.

– Ну да – если нельзя достать, так тогда, разумеется, нечего... А только, я думаю, все-таки это пока лучше оставить так... Теперь ведь уж несколько времени прошло, а через год этот поляк ведь дал слово приехать... Я думаю, он свое слово сдержит. А вот вы рас-

скажите мне, как по-духовному надо думать о снах? Пустяки они или нет?

Батюшка отвечает:

– Это все от взгляда.

– Как от взгляда?

– Да, то есть нет – я не то хотел... есть сны от бога, просветительные, есть и иные – есть сны натуральные от пищи, есть сны вредные от лукавого.

– То-то вот, – отвечает полковник, – но, однако, и это еще не точно. А вот как вы отнесете такой сон. Моя жена – вы знаете – очень молодая женщина, и покойный корнет был ей и родня и друг ее детства, а потому смерть его ее страшно поразила, и она сделалась как бы суеверна. Притом мы потеряли ребенка, и она перед тем видела сон.

– Скажите!

– Да, да, да. Что касается до снов, то она относится к ним – как вы сейчас сказали. Я этого не разделяю, но опровергнуть не хочу, хотя очень знаю, что если на ночь поужинать, то сон снится «бя» какой – стало быть, это от желудка.

– Да, и от желудка, – согласился батюшка, – даже всего больше от желудка, – но ему пришлось еще помучиться.

– Да-с, – продолжал полковник, – но ведь вот то и дело, что у нее это не сон, а видения...

– Как видения?

– Да-с, понимаете – она не во сне видит, не закрытыми глазами, а видит наяву и слышит...

– Это странно.

– Очень странно, – тем более что она его никогда не видала-с!

– Да, да, да... Это вы про кого же?

– Ну, понятно, про поляка!

– Ага-га... да, да, да! – понимаю.

– Моя жена тогда его не видала – потому что тогда, во время этого несчастного приключения, она была в постели, – так что не могла даже проститься с несчастным безумцем, мы смерть его от нее скрыли, чтобы молоко не бросилось в голову.

– Боже спаси!

– Ну да... Разумеется, уж лучше смерть, чем это... Наверное – безумие. Но представьте вы себе, что он ее постоянно преследует!..

– Покойник?

– Да нет – поляк! Я даже очень рад, что вы ко мне после баньки зашли и что мы об этом разговорились, потому что вы в своей духовной практике что-нибудь все-таки можете почерпнуть.

И тут полковник рассказал батюшке, что бедняжке, нашей молодой, розовенькой полковнице, все мерещится Август Матвейч, и, по приметам, как раз такой,

каков он есть в самом деле, то есть стоит, говорит, где-то перед нею на виду, точно как бывают старинные английские часы в футляре...

Батюшка так и подпрыгнул.

– Скажите, – говорит, – пожалуйста! Часы! Ведь его так и офицеры прозвали.

– Ну, я потому-то вам и рассказываю, что это удивительно! А вы еще представьте себе, что в зале у нас словно назло именно и стоят такие хозяйские часы, да еще с курантами; как заведут: динь-динь-динь-динь-динь-динь, так и конца нет, и она мимо их с сумерек даже и проходить боится, а вынести некуда, и говорят, будто вещь очень дорогая, да ведь и жена-то сама стала их любить.

– Чего же это?

– Нравится ей мечтать... что-то этакое в маятнике слышит... Понимаете, как он идет... размах свой делает, а ей слышится, будто «и-щщу и и-щщу». Да! И так, знаете, ей это интересно и страшно – жметя ко мне, и чтобы я ее все держал. Думаю, очень может быть, она опять в исключительном положении.

– Да, да... и это может быть с замужнею, это... очень может быть... И даже очень быть может, – отхватал сразу батюшка и на этот раз освободился и прибежал к нам, в самом деле как будто он из бани, и все нам с разбегу высыпал, но потом попросил, чтобы

мы никому ни о чем не сказывали.

Мы, впрочем, этими переговорами не были довольны. По нашему мнению, полковник отнесся к сообщенному ему открытию недостаточно внимательно и совсем некстати свел к своим марьяжным интересам.

Один из наших, хохол родом, сейчас нашел этому и объяснение.

– У него, – говорит про полковника, – мать зовут Вероника Станиславовна.

Другие было его спросили:

– Что вы этим хотите сказать?

– А ничего больше, кроме того, что ее зовут Вероника Станиславовна.

Все поняли, что мать полковника, конечно, полька и что ему, значит, о поляках слышать неприятно.

Ну, наши тогда решили к полковнику больше не обращаться, а выбрали одного товарища, который был благонадежен нанести кому угодно оскорбление, и тот поехал будто в отпуск, но в самом деле с тем, чтобы разыскать немедленно Августа Матвеича и всучить ему деньги, а если не возьмет – оскорбить его.

И найди он его – это бы непременно сделалось, но волею судеб последовало совсем другое.

## Глава восемнадцатая

В один жаркий день, в конце мая, вдруг и совершенно для всех неожиданно к нашей гостинице подкатил в дорожной коляске сам Август Матвеич – взбежал на лестницу и крикнул:

– Эй, Марко!

Марко был в своей каморке, – верно, молился перед неугасимой, – и сейчас на зов выскочил.

– Сударь! – говорит, – Август Матвеич! вас ли, государь, вижу?

А тот отвечает:

– Да, братец, ты меня видишь. А ты, мерзавец, все, знать, колокола льешь, да верно, чтоб они громче звонили, ты про честных людей вздоры распускаешь, – и хлоп его в щеку.

Марко с ног долой и завопил:

– Что это такое!.. за что!

Мы, кто случился дома, выскочили из своих комнат и готовы были вступиться. Что такое в самом деле – за что его бить – Марко человек честный.

А Август Матвеич отвечает:

– Прошу вас повременить минутку – за мною следуют другие гости, при которых я вам сейчас покажу его честность, а пока прошу вас к нему не прикасаться.



ся и не трогать его, чтобы он ни на одно мгновение не сошел с моих глаз.

Мы отступили, а в это время, смотрим, уж явилась полиция.

Август Матвеич обернулся к полицейским и говорит:

– Извольте его брать – я передаю вам вполне уличенного вора, который украл мои деньги, а вот и улика.

И он передал удостоверение, что на колокольном заводе получен от Марко билет с номером, с каким Август Матвеич за день до пропажи получил этот билет из Опекунского совета.

Марко упал на колена, покаялся – и сознался, как дело было. Август Матвеич, когда ложился спать, вынул билеты из кармана и сунул их под подушку, а потом запомнил и стал их в кармане искать. Марко же, войдя в его номер поправить постель, нашел деньги, соблазнился – скрал их, в уверенности, что можно будет запутать других – в чем, как видели, и успел. А потом, чтобы загладить свой грех перед богом, – он к одному прежде заказанному колоколу еще целый звон «на подбор» заказал и заплатил краденным билетом.

Все остальные билеты тут же нашли у него в ящике под киотом.

И зазвонили у нас свои «корневильские колокола», и еще раз все всплеснули руками и отерли слезу за бедного Сашу, а потом пошли с радости пировать.

Августу Матвейчу все чувствовали себя благодарными, а командир, чтобы показать ему свое уважение и благодарность, большой вечер сделал и всю знать собрал. Даже мать его, эта самая Вероника-то, – ей уже лет под семьдесят было, – и та приехала, только оказалось, что она совсем не «Станиславовна», а Вероника Васильевна, и из духовного звания, протопопская дочь – потому что Вероника есть и у православных. А почему думали, что она «Станиславовна», – так и не разъяснилось.

На этом вечере полковница встретила Августа Матвейча при всех с особенным вниманием: она встала, прошла ему навстречу и подала ему обе руки, а он попросил извинения «в польском обычае» и поцеловал у нее руки, а на другой день прислал ей письмо по-французски, где написал, что он все это время отыскивал сам пропавшие деньги вовсе не для их ценности, а для причин чести... И хотя деньги эти нынче найдены, но он их взять не желает, потому что они есть «цена крови» и внушают ужас. Он просил полковницу оказать ему «милосердие» – воспитать на эти деньги круглую сиротку – девочку, которую он отыскал и которая родилась как раз в ту ночь, когда расстался

с жизнью Саша. «Быть может, в ней его душа».

Молоденькая полковница растрогалась и пожелала взять дитя, которое Август Матвеич и привез ей сам в чистой белой корзине, в белой кисее и лентах.

Ловкий поляк! – все ему даже позавидовали, как он умел сделать это красиво, нежно и вкрадчиво. Мистик и вистик!

Она, говорили, прощаясь с ним, плакала, а мы с ним простились при брудершафтах за городом в роще. Это была случайность: он уезжал, а мы бражничали и остановили его. Извинились и затащили, и пили, пили без конца, и откровенно ему всё рассказали, что гадкого о нем думали.

– Ну и ты тоже, – приступили, – и ты нам скажи... как ты это все подстроил.

Он говорил:

– Да я, господа, ничего не подстраивал – все само собой так вышло...

– Ну да ладно, – говорим, – не виляй, брат, – ты поляк, мы тебе это в вину не ставим, а, однако, как же это ты мог отыскать сиротку-дитя, которое родилось как раз в ту ночь, как умер Саша, и, стало быть, это дитя – ровесник умершему ребенку полковницы...

Поляк засмеялся.

– Ну, господа, – говорит, – да разве можно было это подстроить?

– Да в том-то и дело! Черт вас знает, какие вы тонкие!

– Ну, поверьте, я теперь только и узнаю, что я так тонок, что даже сам себя не могу видеть. Но вы меня увольте в дорогу, а то почтовый ящик, по своим правилам, выпряжет лошадей из моего экипажа.

Мы его отпустили, сами подсадили его в коляску и крикнули: пошел!

А он примерялся, как нам грациозно поклониться из коляски, но, верно, не успел сесть, как лошади дернули – и он предвусмысленно поклонился нам задом.

Так наша грустная история и кончилась. В ней нет идей, которые бы чего-нибудь стоили, а я рассказал ее только по интересности. Тогда было так, что что-нибудь этакое самое ничтожное затеется и пойдет расти, расти, и всё какие-то интересные ножки и рожки показываются. А теперь захват будто ух какой большущий, а потом пойдут перетирать – и меньше, меньше, и, наконец, совсем ничего нет... Иной даже любить начнет, да и оставит – скучно станет. А отчего это? – чай от многого, а более всего – думается – не от равнодушия ли к тому, что называется *личной честью*?..

*Впервые напечатано – журнал «Новь», 1885.*